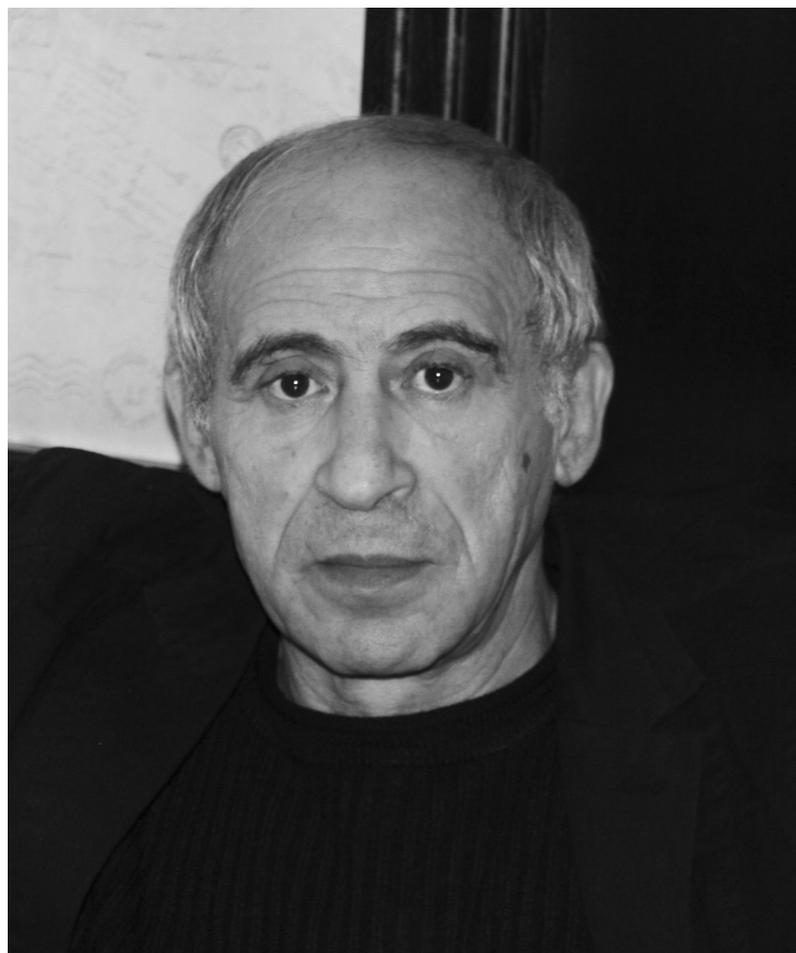

Библиотека Русского ПЕН-центра

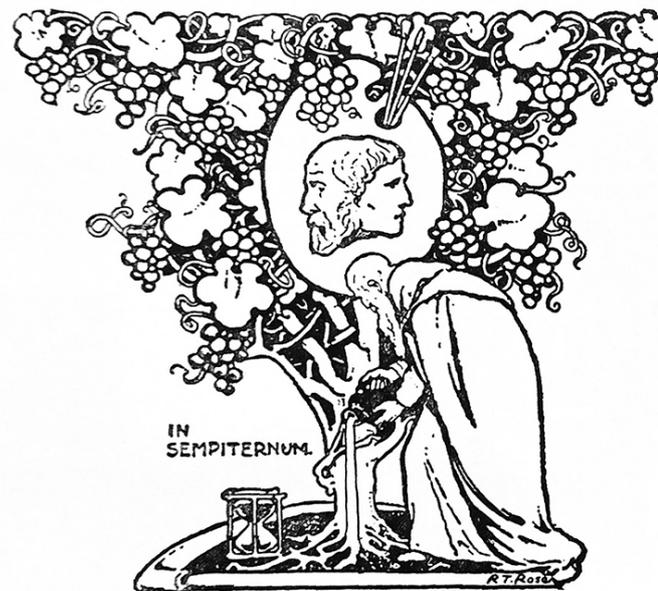




Ефим Бершин

Человек параллельной эпохи

Избранные стихи



Русский ПЕН-центр
Москва
2024

УДК 82-3+316.728

ББК 84+60.526

Б 52

Серия:
#ПоэтыПЕНа

Главный редактор
Владимир Семёнов

Издание осуществлено в рамках проекта «Голоса поэтов»,
который реализуется МОО «Общественная палата деятелей культуры и искусства»
за счёт средств гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Руководитель проекта – А.А. Новиков-Ланской

Бершин Е.Л.
Б 52 Человек параллельной эпохи: Избранные стихи. – М.: МОО
«Общественная палата деятелей культуры и искусства», Русский
ПЕН-центр, 2024. – 264 с.

ISBN 978-5-87531-192-5

Новый сборник избранных стихов Ефима Бершина...

Издано в рамках научно-издательской программы
ГБУК г.Москвы «Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова»
Ученый секретарь Андрей Новиков-Ланской

РОЖДЕНИЕ

(1985 – 1990)

ISBN 978-5-87531-192-5

© Русский ПЕН-центр, 2024
© Бершин Е.Л., 2024

* * *

И дико во тьме завывая,
в какой-то звериной тоске
целую копыта трамвая,
стоящего в тупике.

Ну, трогай!
И вот через город,
страдая избытком чувств,
как бьют с перерезанным горлом,
по черной брусчатке качусь

с глазницами без огня,
с оторванной головой.
И ветер гонит меня,
как мусор, по мостовой.

А следом, покуда жив,
покуда со мной душа –
«Держите вора! Держи-
те революционный шаг!»

О, Боже!
Я родом оттуда,
где из Боровицких ворот
на белой ослице Иуда
въезжает в ликующий сброд.

Я тоже во всадники метил.
 Спасибо, не вышло. Увы.
 Спасибо, никто не заметил,
 что я уже без головы,

что вместе со всеми, безлицый,
 стекая в подземные трубы,
 целую копыта ослице,
 в кровь раздирая губы.

* * *

Незаконнорожденный сын
 виноградной лозы и мула,
 мимо денег и мимо времени
 прущий в прах,
 отвалили киты,
 и надежда тебя обманула,
 и покоится нынешний мир
 на своих черепах.

Посиди у огня,
 на щепу расщепляя поленья,
 озаря мерцающим светом
 последний вокзал.

И из скорости времени
 вычти скорость мышленья,
 чтобы стало понятно,
 насколько ты опоздал.

Пусть поведает Ягве,
 почем черепа на рынке?
 И почем его чаша?
 И что в ней?
 И с чем ее пить?
 Мы уже не умеем молиться, но мы по
 старинке
 на краю преисподней приходим в Его общепит.

Но и так уже ясно, что некуда больше деться,
что едва ли уже дотянем до новой весны.
Неожиданно различаю в себе младенца,
колеящего по миру в катафалке родной страны.

* * *

Осень.
Нетопленный лес.
Похороны костра.
Кладбище.
Крашенный крест,
как выраженье добра.

Звук – выраженье струны.
Власть – выражение воли.
Я – выражение боли
этой несчастной страны.

* * *

Ворвавшись в заспанный январь
кульбитом, сумасшедшим сальто,
голубкой снега – на фонарь,
пятном белил – на холст асфальта,

лежу на Внуковском шоссе
и, разделяя участь птицы,
гляжу на стынущие лица
в текущем мимо колесе.

А в небе, Богу вопреки,
печальный пасынок России
летает наперегонки
покуда не иссякли силы.

Еще не угадав судьбы,
летит, выпячивая локти,
туда, где пьяные столбы
и жаркий дух ревущей плоти,

где, в небе пропахав между,
с отравленными голубями
в обнимку
я уже лежу
в унылой придорожной яме.

Россия, сводная сестра,
не сотвори себе кумира!
Когда закончится игра
в театре стынущего мира,

тогда останутся в конце
пути, где занавес закрыли, –
зрачки, ползущие по крыльям,
и мертвый голубь на лице.

МОНОЛОГ

*«Ты стань жуком,
я стану муравьем.
И лучшей доли,
кажется, не надо.»*

Е. Блажеевский

1.

Безлюдна полночь, и Москва пуста,
как женщина, утратившая нежность.
Все замерло. И я живу с листа,
как будто раньше никогда и не жил,
как будто бы не ведал, что пустот
не терпит жизнь. И в ледяную стужу
бреду один.
И время, как пальто,
перелицовано карманами наружу.

2.

В нем все – не то. Другие имена,
другое небо и другие люди –
красивые, которые меня
еще не знают и уже не любят
за то, что, распахнувшись, к ним иду,
за то, что губы изломаю в споре,
за то, что я, живя в своем аду,
не чувствую сомнения и боли,

когда, сорвавшись, как осенний лист,
лечу без сожаления и вздоха,
когда, свихнувшись, предъясвляет иск
тяжелая похмельная эпоха.
Да, я спешил. В том не моя вина.
Мне медлить не положено по жанру.
Кто долго падал – не достигнет дна,
кто долго пел – не допоет, пожалуй.

3.

Но вот, хрипя в осеннюю траву,
я понимаю, что судьбе в отместку,
сорвавшись вниз, я все еще живу –
без имени, без возраста, без места
в пустом доме, где стены из стекла,
вражда наивна, а любовь бесплодна,
где нами молча выбрана была
прекрасная, но странная свобода:
свобода выбирать от сих до сих,
свобода стать жуком в навозной жиже,
свобода даже самый лучший стих
не написать и все-таки не выжить.
Мы волчье племя. Мы сродни волкам.
Но, предавая чистую породу,
мы сами стрелы выдали стрелкам
и сами на себя ведем охоту.
И спорим о природе ремесла
в дыму табачном коротая вечер,
когда уже отпущена стрела,
и за спиною
страшно дышит
вечность.

* * *

Напророчила снег
 одинокая туча-пророчица.
 И московский декабрь –
 словно пес у закрытых дверей.
 На звенящем ветру
 догорает фонарь одиночества –
 пожалуй, единственный
 из еще не погашенных
 фонарей.

Я живу на десятом.
 По небу текут тротуары.
 Подгулявшие вопли
 срываются с черных мостов.
 И стоит постовой,
 словно замок на берегу Луары,
 на высоком посту
 охраняя влюбленных котов.

У ночного окна
 ожидаю случайного гостя
 из далекой страны,
 у которой названия нет.
 Отработала медь.
 Возвратились деревья с погоста.
 Проступил дирижер.
 Тишина.
 Начинается снег.

Я привык ко всему.
 И на выстрелы шею не выгну.
 Я играю с листа
 и умею дороги листать.
 Я привык к этой жизни.
 А надо – и к смерти привыкну.
 Будем водку с ней пить
 и по сонной столице летать.

Прошвырнемся в ночи
 по Арбату,
 а после – по Трубной.
 И заглянем домой,
 где томится огонь в камельке,
 где тепло и светло,
 где я сплю с телефонною трубкой,
 разговаривающей
 на чужом языке.

* * *

Ю. Соловьевой

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.

Влюбленный бюст,
стоящий истуканом,
пенсионер,
жующий чебурек,
пустой башмак,
оплаканый фонтаном,
и постовой,
живущий в кобуре,

и мост,
напоминающий качели,
и сытые ночные поезда –
все протекло меж струн виолончели
и унеслось неведомо куда.

Поскольку в этом скопище живых,
где больше не до живу – быть бы жиру, –
она одна была угодна миру,
висящему на нитях дождевых.

* * *

Эти летние дожди
бьют наотмашь смехом, болью.
Боже, как они разбойны
эти летние дожди.

Навертели кучу дел,
все смешав между собою.
И, как от стены обои,
души отстают от тел.

Выпотрошенный до дна,
кто-то вдаль идет от дома,
а за ним влачатся долго
шлейфом взгляды из окна.

Там лицо ушло во мглу.
Там, с дождем смешавшись, тая,
капель женщина стекает
по оконному стеклу.

* * *

Облако,
изъеденное молью,
яблоко,
изъеденное червем,
женщина,
оставленная мною,
желтый лист на тополе вечером.

Понимаю, в этом все и дело –
в облаке, в падении листа.
Господи, но как же надоело
эту книгу заново листать,

мучиться сомнением и болью,
чтобы на изжеванных листьях
отыскать изъеденное молью
облако
и женщину в слезах.

* * *

Я знал, что будут ночи гулками,
промерзшими, как Рождество,
любовь скользнет меж переулками,
похожая на воровство,

что над изломанною жестами
беседой в доме книголюба
взметнется птичье имя женщины,
впотымах сорвавшееся с клюва,

что в этом городе,
на дне
подъезда,
где шаманят стены,
безликой фреской на стене
соединятся наши тени.

* * *

Явилась осень.
С вымокших осин
уже опали крылья неохотно.
И солнце светит из последних сил,
и, слава Богу, кончена охота.

И, слава Богу, тишина кругом,
когда ночами глухо ноет тело.
Что делать, если я с одним крылом.
И ты с одним.
И стая улетела.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ
(холст, масло)

И, как на сковородке маргарин,
растаял день, и забродила брага
крепчайшей тьмы и растворила грим
строений спящих, лишь глаза витрин
выхватывали улицу из мрака.

На фоне света было видно, как
янтарь дождя искрится и дробится,
кровоточит на крыше черепица,
фуражкой нахлобученной чердак
на доме дремлет и себе же снится.

Казалось мне, что из-под тополей,
как спутник, к фонарю стремилась урна.
Фонарь напоминал кольцо Сатурна,
лишенное Сатурна, но абсурдно
сравнение планет и фонарей.

Все замерло. Лишь свой унылый хвост
тянул трамвай и кинолентой окон
мелькал в ночи.
Цвела колючим оком
реклама фильма, прожигая холст,
подмигивая, будто ненароком.

Все замерло.
Лишь на краю холста
в окне,
вместившем боль какой-то драмы,
сквозила
жизнь
за крестовиной рамы,
как по другую
сторону
креста.

ПЕЙЗАЖ НА ФОНЕ ПОРТРЕТА
(холст, масло)

Соринкой в глаз вливает облако,
и обнаженная невеста
летит во мрак,
лишенный облика,
укрывшись белой занавеской.

И поводя хвостами рыжими,
над уличными голосами,
над фонарями и над крышами
табун пасется под глазами,

в которых плещется история
и страх, и ненависть, и точка
надежды раненой, которая
еще жива стыдом за то, что

пока страна под нож прозектора
ложится, как больная птица,
урод, украв чужое зеркало,
никак собой не насладится.

НАТЮРМОРТ
(холст, масло)

Инне

Обнаженная рыба упала ничком
на подмости стола.
Опустившись на дно,
сквозь прореху в кувшине глядело тайком
на ее наготу молодое вино.

В позолоченной чашке, почти у окна,
желтый парус лимона лежал на мели,
словно взяли и выпили море до дна,
не дождавшись, пока уплывут корабли.

Не умея сдержать вытекающий сок,
над равниной салата и прочей едой
недоеденный кем-то арбузный кусок
восходил из тарелки зарей молодой.

Под мужским каблуком задохнулось стекло.
А на узкой кровати, правее стола,
в голубую подушку дыша тяжело,
вопросительным знаком хозяйка спала.

АВТОПОРТРЕТ В САДУ
(картон, уголь)

Уже дымит кирпичная труба,
уже соседи выехали с дачи.
И снова благосклонная судьба
кривляется и воет по-собачьи.

В моем саду цветет металлолом,
гуляет ветер, с сумерками споря,
и бьет калитка крашеным крылом,
не в силах оторваться от забора.

Мне хорошо. Я молод и любим.
Я сам из дыма создал Галатею.
Мне хорошо. И светел чистый бинт,
соединивший голову и шею.

Вот мой очаг. А вот мои дрова.
Вот что-то мимо уха просвистело –
и сразу закружилась голова,
как будто гайки ринулись из тела.

* * *

Как глухо. Как метет пурга.
И люди сквозь пургу, отчаясь,
бредут на ощупь, наугад,
домов и лиц не различая.

Они похожи. К масти – масть.
Но то, что ночь им уготовит,
сегодня рано понимать,
а завтра понимать не стоит.

Они ослепли в эту ночь.
Метет пурга. Но за ворота
я выйду.
Как сквозь масло нож,
пройду сквозь снег до поворота.

И встану на голову, чтоб
увидели, прервав движенье,
что в переулке вырос столб
с лица необщим выраженьем.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ
(Тетраптих)

1.

Дитя разврата и абсурда,
партнер в проигранной игре,
зачем тебя сливает в урну
убогий дворник на заре
в стране, где правит волчий вой
и где сердца на счастье бьются,
где недокошенной травой
ночные призраки крадутся,
где мысли служат сапогу,
где дважды в век, а то и чаще,
костры пылают на снегу,
суля немедленное счастье,
где, мрачно веря в чудеса,
питаемые липкой ложью,
мы были частью колеса,
ползущего по бездорожью.

2.

Неужто оттепель права,
диктуя таянье и бегство,
когда от сырости и бедствий
в тулуп уходит голова.
Но на чернеющем снегу,

съедающем остатки дачи,
я тоже таю. Я иначе
уже, наверно, не могу.
Мы все растаем. Мы вода
больной, пылающей державы.
Мы все по этим трубам ржавым
в огонь, неведомо куда
с глазами мертвенной клише
уйдем, не подведя итога,
без сожаления, без Бога
в своей измученной душе.

3.

Но в очереди ко дверям,
за коими покой не купишь,
народ своим поводырям
показывает грязный кукиш.
В кольце забытых площадей
во тьме пылают поцелуи
на лицах пламенных блядей,
и, поминая Бога всуе,
гудит великая страна
торжественно и бесполезно,
и веселится сатана
в незамерзающих подъездах,
где друг на друга точит нож.
Но, изъязвленная искусом,
бурлит Рождественская ночь
в стране, оставленной Иисусом.
И мы, мой друг, на Рождество
накроем стол, накупим водки...

4.

...и только волки,
только волки
увидят наше торжество.

РОЖДЕНИЕ

Предчувствие конца, предчувствие ухода,
предчувствие дождей, идущих поперек
распахнутой земли. Но странная свобода
является в крови и гонит за порог.

И мне еще дано услышать запах пота,
ползущий сквозь метро в ночные поезда,
и женщину, с трудом давящую зевоту,
вести через Москву неведомо куда.

Спасибо, что с тобой сошлись мы в этом доме,
и мне дано вкусить от призрачных щедрот,
когда передо мной в мучительной истоме,
как рана, на лице зияет черный рот.

И можно подглядеть, как спяну или сдуру
стоит среди двора седеющий кретин.
И вот – наискосок, как в мусорную урну,
летит в него плевков. Потом – еще один.

Спасибо, что Москвой еще гуляют страсти,
и можно угодить в божественный обман
и вылететь в окно, и, плавая в пространстве,
ненужною звездой пронизывать туман.

Да здравствует вранье и видимость полета,
и видимость любви, свершенной в темноте,
пока цветут глаза ромашками помета
и гребни – на ушах, и перья – на хвосте.

И вертится земля подобием рулетки,
и я не знаю сам, где оборвется шаг,
и в лифте скоростном, как жаворонок в клетке,
срываюсь в никуда с седьмого этажа.

**ЧЕЛОВЕК
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ЭПОХИ**

(1991 – 2001)

* * *

Мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
Так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.

Над землей прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы – с капелью, как смерть
не рифмуется с воскресеньем.

Я уже не рифмуюсь с тобой,
как еврей и вельможная пани.
Слышишь, вою фабричной трубой
из окна замороженной спальни?

Только бездна струится из дыр –
из дивана, из кресла, из пола.
Мир уже не рифмуется. Мир –
пустота опустевшего поля.

Я собою закрою дыру,
прилипая к воскресному креслу.
И уже никогда не умру.
И уже никогда не воскресну.

* * *

Марине Кудимовой

Мы вышли за пределы языка,
дарованного ветру и морозу.
Что наша речь? – достоинство гудка,
несущего движенье паровозу.

Но снег идет, не требуя резца,
не требуя ни слова, ни палитры.
И, как глаза с потухшего лица,
в своем спокойном, обнаженном ритме

слетают листья с выцветших берез,
чуть шелестя на собственном наречьи.
Ни Гете, ни Шагал, ни Берлиоз
не отразят обыкновенной встречи

листвы с землей, предсмертный поцелуй
воды и снега, ком в горящем горле,
и женщиной в задушенном углу
на грязный пол сползающее горе.

Не обозначить, не перевести
ни снега, ни дождя, ни листопада.
И путь судьбы в измученной горсти
не выписать, не высечь.
И не надо.

* * *

Виталию Дмитриеву

Внезапно разрывая тьму,
прохожий освещает полночь.
«Бог в помощь», – говорю ему.
Он откликается: «Бог в помощь».

Пересекая грязный двор,
мы разбредаемся степенно
по городу,
где каждый – вор,
а нет – так станет непременно.

Где пьет с дворнягами поэт,
где отрешенно каждый вечер,
войдя в квартиру, гасят свет,
а уходя – вздувают свечи.

Где женщина меж двух витков
судьбы,
среди вселенской стужи,
на переломе двух веков
спокойно собирает ужин.

Бог в помощь, город у реки.
Бог в помощь, друг мой.
Жизнь прекрасна!
И я не протяну руки
тебе для помощи напрасной.

Ты знаешь, что не превозмочь
больную,
страшную свободу,
что Бог не в силах нам помочь –
мы сами помогаем Богу.

* * *

Это яблоко. Яблокопад.
Это якобы сумерки.
Якобы
это Ева идет через сад,
подбирая опавшие яблоки.

Это яблочный Спас. Это путь
тишины, выходящей из тени.
Контрабас,
контраболь,
контрапункт
приглушенного грехопаденья.

Это вечера стертый пятак
нагоняет ненужные страхи.
Это яблоки падают так,
будто головы падают с плахи.

И уже не дано надкусить
ни плода, ни случайной удачи.
Никого не дано искусить
в подмосковном эдеме на даче.

И Господь меня не отлучит,
обрекая изгнанию и стуже,
не затем, что я праведно чист,
а затем, что я больше не нужен.

Я лежу, как пятно на холсте.
Я упал.
Я сегодня при деле.
Я прикован к своей нагоде,
как любовник к постылой постели.

И небес дождевая вода
осторожно смывает усталость.
Подберите меня, господа, –
нас немного осталось.

* * *

Мне холодно в этом вертепе
среди недоверчивых лиц,
где женщины ваши и дети
с губами телят и ослиц

уже улыбаются жутко,
уже никого не спасут
и выведут без промежутка
на площадь, на чернь и на суд.

И медленно капают с елки
шары, словно с крыши – вода.
И звезды – всего лишь осколки
большого вселенского льда.

И где-то, отбившись от стада,
замерзли мои пастухи.
Тропой Гефсиманского сада,
слепой собиратель стихий,

бегу воскресенья и славы,
и небу, и людям чужой –
такой одинокий и слабый,
с такой непосильной душой.

* * *

Инне

Россия. Дождь. Начало октября.
Безденежье. Москва несется мимо.
На смерть уходят в небо тополя
горящим Храмом Иерусалима.

Пустыня. Иудея. Жжет хамсин.
Пришествие мессии. Смерть идеи.
Свержение мессии. Стынет синь
Российская под небом Иудеи.

И – в клочья имена и времена.
Горят костры. И брат идет на брата.
Гуляет Иудейская война
по переулкам старого Арбата.

Рыдают окна в Гефсиманский сад.
Москва исходит нищими и псами.
И странники теснятся у оград,
взрезая мрак библейскими глазами.

От Боровицких до Шхемских ворот
все – от блудницы и до пилигрима –
взирают молча, как брусчатку рвет
предсмертный хрип поверженного Рима,

как забуддыгу, вора и вруна,
уже почти лишеного рассудка,
сажает на кол странная страна,
а после воеет, как дурная сука.

И забывает. И теряет счет
юродивым успокоенья ради.
Так забывает, как слезу со щек,
стирая, забывают об утрате.

И я забуду и московский смог,
и жаркие объятия хамсина.
Ни Родины, ни Храма – только Бог!
И женщина, рожающая сына.

И женщина, как ангел во крови,
бредущая к презрению и плети
затем, чтоб ветхим рубищем любви
соединить дыхание столетий.

По русским, по заблеваным снегам
иду один на Масличную гору.
О, Боже, как тепло моим ногам!
Как холодно расплавленному горлу!

Как дружно иудей и славянин,
погромщики, погрявшие в пороке,
властитель дум
и тот, кто был гоним,
и тот, кто сам готовится в пророки,

и праведник на медленном осле,
и стражник из садов архиерея
уже сошлись в едином ремесле,
готовя крест заблудшему еврею.

* * *

Памяти мамы

Собака лает.
Ветер носит.
Луна бежит на поводке.
Внезапно выпадает осень,
гадая ливнем по руке.

И клен, лишившийся убора,
метлой гоняет лунный челн.
И жизнь, калиткой без забора,
скрипит неведомо зачем.

А что нам надо было в мире?
Заполнить пустоту листа?
Я тоже в придорожном тире
когда-то мазал сто из ста.

И, слава Богу, – шиш в кармане,
вода в ладони да тоска
внезапная, как мысль о маме,
уснувшей посреди песка

в чужой измученной пустыне,
где царствует верблюжий зной,
и память о заблудшем сыне
едва влачится за страной,

где нет ни осени, ни снега,
ни ливня, чтоб ночами лил.
Одно расплавленное небо
лежит на выступах могил.

Две жизни в их пути недлинном
пытаюсь нанизать на нить.
Но это небо с этим ливнем
мне не дано соединить.

* * *

Песком пустыни давится хамсин.
Клубится небо, душное, как астма.
Приходит в город Человечий Сын
ярмом любви, предтечей христианства.

Пока пространства выгоревший шелк,
как поцелуй, несет к нему Иуда,
толпа кричит: «Смотрите, кто пришел!»
А надо бы – куда пришел? откуда?

зачем? Когда закат уже кровит,
когда вся суть идеи, суть исканий
в том, как в бездомных жриц его любви
летели человеческие камни.

* * *

Сомкнулась горловина века.
 Застрял верблюд в ушке игольном.
 Июль, как высохшая ветка,
 шуршит в пространстве треугольном,

где тощий, словно биссектриса,
 сбежавшая от геометрий,
 прямой – от Глеба до Бориса –
 пересекаю поле смерти,

чтобы однажды на закате,
 вдруг истончившись до пунктира,
 скользнуть внезапно, как за катет,
 за грань истерзанного мира,

где, распахнувши небо настезь,
 ревет безумная свобода,
 и люди, словно от ненастья,
 в церквях спасаются от Бога.

ЧУЖИЕ НЕБЕСА

Маргарите Крапчан

Ты помнишь старый сквер на берегу лимана?
 Сочился из окна задумчивый кларнет.
 И пахло сентябрем. Но из-за океана
 ты помнишь этот сквер? Его сегодня нет.

Ты помнишь этот дом? И за забором, рядом, –
 еврейские зрочки продолговатых слив?
 И плакала лоза осенним виноградом.
 Ты помнишь этот дом? Его уже снесли.

Ты помнишь тихий Днестр в эпоху листопада
 и лодку, что тайком забила в камыши,
 и девочек в трико... и мальчиков... Не надо.
 Не надо вспоминать. Они уже ушли.

Ушли. И никуда от этого не деться.
 И тополиный мир, пропоротый насквозь,
 как тот футбольный мяч, что мы гоняли в детстве,
 скукожился и сник, насаженный на гвоздь.

И стайки воробьев, трещавших без умолку,
 как взрывом отнесло за близлежащий лес.
 Ты думаешь легко бездомному осколку
 рассеянно скользить среди чужих небес?

А надо мной – сугроб. И тучи – как из стали.
И чудо из чудес: коты загнали пса.
А, впрочем, напиши. Я думаю, доставят
по адресу: Восток, чужие небеса.

* * *

Опять горнист исход трубит,
подталкивая к землям дальним.
Но тополем пирамидальным
я насмерть к берегу прибит.

Пространство – фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.

И лист тускнеет, как медаль,
в грязи родного бездорожья.
Но он не улетает вдаль –
он умирает у подножья.

* * *

Затхлый запах бездонности –
сквозняком – по душе.
Ощущенье бездонности
не покинет уже.

Но как ветер за ставнями
или пес в конуре,
как случайно оставленный
патефон во дворе,

я играю и вроде бы
я пою и верчусь –
певчий пасынок родины.
За нее, как юродивый,
я еще расплачусь.

* * *

Пока по эту сторону земли
мы спали, в небесах случилась осень,
пошли дожди,
и вымокшие осы
ручьём по подоконнику текли.

Мы вышли в Гефсиманию.
И тень
легла к ногам неведомо откуда.
Уже вполне напоминал сирень
до синевы удушенный Иуда.

И камни выползали из травы,
и нищие шептались у дороги
о том, что не сносить нам головы
за эту страсть.
И месяцем двурогим

цвела корова в утреннем дыму,
и мир сошел с ума по вертикали,
все перепутав,
отомстив всему
тому, что было создано веками.

Сочилась церковь Спаса на Крови,
как в воду опрокинутая чарка.
Хрустел песок.
За нами шла овчарка,
ощерив пасть в предчувствии любви.

* * *

С похожею на небо обликом,
с отставшею от птичьей стаи,
с тобой целуешься – как с облаком,
которое вот-вот растает.

Так белка, с огненным листом
сливаясь в дебрях лесопарка,
сверкнув пылающим хвостом,
вдруг станет фактом листопада.

* * *

Луну зарезали под утро,
в шестом часу, в канун Покрова.
Как перевернутая урна,
валялось небо у парома.

Вороны раздирали воздух
осколками ушедшей ночи,
гортанно падая на воду
и рассыпаясь многоточьем...

Уже ничто не отделяло
от наступающего снега –
лишь край стола да одеяло,
да женщина на фоне неба.

Она под утро воскресенья
явилась в снежном, ветхом платье –
последней милостью осенней,
последним знаком о расплате.

Остановились дни и числа.
Среди реки застыло судно.
Шел первый снег,
шел снег пречистый
на мир, исполненный абсурда,

на мир, где улица томилась,
меняя лики на личины,
где Божий гнев и Божья милость
уже почти неразличимы.

* * *

Снег идет неслышно, по-кошачьи,
хлопьями, как лапами, шурша
там, где зачарованный, дрожащий
синий ельник стынет, не дыша,

там, где между небом и землею
нет границ и обнажилось дно,
снегом, словно белою золою,
прошрое уже погребено.

Я ушел и больше не нарушу
ваш покой бесценный, ваш ночлег.
Словно небо вывернув наружу,
снег идет, обыкновенный снег,

тайный, словно тайные любви
или тени на исходе дня –
где-то рядом, за пределом боли,
где-то там, где больше нет меня,

снег идет, крадется и занозит
душу, словно нищенка с сумой.
Бог ты мой, ну как же он заносит!
Как же он уносит, Бог ты мой!

И уже не различить причала,
и уже не различить лица.
Если можешь, начинай сначала
эту жизнь.
А я начну – с конца.

ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ

1.

Когда телефон замолчал и умер,
а часы показывали все, что хотели,
и только сверчок верещал, как зуммер,
наискосок от моей постели,

я понял, что наконец-то вышел
из времени, из его объятий сучьих,
как язык – из азбуки,
сок – из вишен,
оставив деревьям гнилые сучья.

А за окнами так же теснились ели,
пахло псиной,
и печка давилась поленьями,
и ворота долго еще скрипели
там, по другую сторону времени.

2.

Человек параллельной эпохи,
убежавший от Судного дня, –
и не то чтоб дела мои плохи,
просто больше их нет у меня.

Разве это серьезное дело –
неожиданной прихоти для
выковыривать душу из тела,
словно зернышки из миндаля?

3.

Когда я так не вовремя уснул,
когда мне изменило чувство меры,
когда из дня, из месяца, из эры,
из времени неслышно ускользнул,

меня всю ночь искали на снегу
мои собаки, женщины и дети.
Я понимаю, что за все в ответе.
Но ничего ответить не могу.

* * *

Бездомный, словно уличный фонарь,
лишенный исторической породы,
обычный человеческий словарь
перевожу на языки природы.

Я слышу, как скрипит ветвями ель,
и вторю ей, и заполошно вою,
как воет обезумевший кобель,
завидевши луну над головою.

Я так живу. Иначе не могу.
Полночных звуков расширяю спектр.
Мой бюст уже исполнил на снегу
ваятель снов, сосуллек архитектор

и затаил на стеклах акварель.
Как хорошо, что мы по снегу водим
перстом судьбы, и будущий апрель
все унесет могучим половодьем.

Давай молчать из глубины листа.
На улицы, на сторбленные крыши
уже грядет большая пустота.
И этот мир ее еще услышит.

* * *

Когда вечер опустится вещей,
непонятный в своей ворожбе,
можно выбросить старые вещи
и очистить дорогу судьбе.

Можно кованые ворота
посадить на железный засов,
запереться на два оборота
и спустить обезумевших псов.

И остаться, как добрая лошадь,
на конюшне ненужных вещей
в новом ватнике, в крепких калошах,
наблюдая в заборную щель,

как проходит судьба, не мигая,
на последнем твоём вираже –
ослепительная, нагая
и навечно чужая уже.

* * *

Уже ни строчки, ни судьбы
ни из чего не вычесть.
Бездомный страх и душный быт
не вылепить, не высечь,

не изваять ни этот пыл,
ни жар ночной тревоги.
Мне будет памятником – пыль
у столбовой дороги.

Мой мир – обочина, кювет.
Но хищно, как волчица,
я буду каждой шине вслед
нести и волочиться.

МОНОЛОГ ОСКОЛКА

(1995)

Я три дня и три ночи совсем не спал.
 Я летал, пережаренный, как в аду.
 Ты прости,
 если я в тебя не попал.
 Ты прости,
 если я еще попаду.

2.

Отделенный от пустого тела,
 как младенец в сморщенной горсти,
 в яслях неба,
 слепо неумело
 черный ангел надо мной гостит.

Это я, рожденный от металла,
 словно рубль от медного гроша.
 Это надо мной моя витала
 черная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,
 одинокий, голый, как в раю,
 вертикально тощий, словно циркуль,
 на горящей площади стою.

Это я среди безумной сечи,
 легкий, как оголодавший мим,
 улетаю, чтобы пересечься
 со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,
 не дано понять в сплошном огне –
 то ли это я уже у щели,
 то ли это он уже во мне.

3.

Мы жили там,
 где счастья мрачный поиск,
 на нет сводила долгая зима,
 где медленно,
 как сходит с рельсов поезд,
 сходило человечество с ума.

И потому. уйдя на зов заката
 туда, где пляж целуется с рекой,
 ты тихо скажешь: я не виновата.
 И обернешься,
 и махнешь рукой
 той пустоте,
 что мной была когда-то.

4.

Утром с куста опадает вода,
 Ночью с креста опадает хламида.
 Нам, как прямым по капризу Евклида,
 не пересечься уже никогда.

Мы разминулись в пустых небесах,
 мы разошлись в Иудейской пустыне.
 Ты не узнаешь, как медленно стынет
 утренний снег в подмосковных лесах.

Нам, обезумевший от икоты,
освобожденный от праведных пут,
через разрывы, раскаты, окопы
пьяный чертежник прокладывал путь.

Страшен покой возбужденной душе,
как захмелевшим словам – идиома.
Мир – геометрия идиота.
Нам не дано пересечься уже.

Будут прямые дружить на кресте,
будут гвоздями пронизывать руки,
будут, свистя, возвращаться на круги
пули в свирепой своей наготе.

Сном Иоанновым наяву
будет усеивать улицы падаль,
будет звезда Вифлеемская падать
на разоренные ясли в хлеву.

5.

И было:
свалившееся за клеть,
как не остывшая стеклотара,
солнце,
и Днестр,
похожий на плеть,
уже изогнутую для удара,

и отдаленный лягушечий плеск,
и тишина, как зрачок абрикоса,
стрекот цикад
и внезапная плешь
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,
обреченный,
словно визит к аптекарю,
и выстрел – будто захлопнули портсигар
так,
что потом прикуривать некому.

6.

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прицела,
задачу передоказав.

И снайперы,
сверкнув затвором,
лишь птиц спугнули с черных крон.
А я себе казался вором,
укравшим пищу у ворон.

7.

Победа –
 это первый теплый снег,
 укрывший поле, где бродили волки,
 сквозняк развалин,
 гильзы от двустволки,
 пустой башмак
 и истеричный смех
 у зеркала.
 И зеркала осколки,
 осколки смеха прячущие в снег.

8.

О, Господи, они Тебе нужны?
 Зачем тебе такая маета?
 Они еще, случается, нежны,
 зато все лучше бьют от живота,

переступая трепетную грань
 за горсть железа и железный стих.
 Ну что тебе от неразумных сих,
 стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.
 Иуде не осилить эти суммы.
 Они разумны, Господи!
 Разумны!
 И в этом суть.
 И в этом их вина.

9.

Разрывы.
 Перья.
 Облака.
 Струя кровавого рассвета.
 Давай-ка улетим, пока
 над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,
 как музыкант больную скрипку,
 пронзает ржавую иглу,
 вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,
 уйдя от мира, как от плена,
 заштопать черную дыру
 и на чулке,
 и на вселенной.

10.

Уже однажды пересечена
 грань, за которой больше нет запрета,
 и страха нет.
 Все выбрано до дна.
 И лишь ночами так болит вина,
 что все плывет.
 Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна.
 И война
 конкретна, как конкретны пятна крови

и небом продырявленные кровли.
Сквозь них пока не хлынула вода,
но виден Марс в своей нелепой роли
Рождественской звезды.

Покуда цел
несчастный снайпер и тасует лица,
он взят уже другими на прицел.
Меж снайпером и целью нет границы
в стране, где выстрел – средство, а не цель.
И цели нет.
Она нам только снится,

как кочка в застывающем болоте,
как перед смертью – высохший женьшень.
Стрелок освобождается от плоти.
Планета, как осколок на излете,
нащупывает в вечности мишень.

11.

Начинается снег,
будто заново жизнь начинается,
будто заново женщина
с вечера стелет постель.
Начинается так,
как домашний пирог начиняется
молодыми грибами
к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.
Начинается новая вьюга,
засыпая обломки трагедий

и гвозди голгоф.
Мы еще влюблены.
Мы еще не касались друг друга.
Да и гости едва ли касались
твоих пирогов.

Начинается снег.
Между рамами морщится вата.
Заметаются вешки
на дальней кровавой меже.
Ни войны, ни тревоги.
И ты уже не виновата.
Да и я не виновен.
И все не виновны уже.

12.

Паденье – тоже форма бытия.
Когда стрелок летит в провал полета
бездонного двора на снег белья,
на бабочку фонарного огня –
не отличить паденья от полета.

Не отличить полета от паденья
в пыль облака, в пожухлую траву.
Мы выживем,
как выживают тени,
на время уходящие за стены.
Я падаю.
И значит я живу.

Мы падаем.
И значит мы живем.
Как ласточки, не сеем и не жнем.
И, как с крючка сорвавшаяся рыба,
как в водоем,
уходим в окоем.
Что наша жизнь? –
мгновенье после взрыва.

13.

Расщеплен, как Адамова плоть,
как единый язык в Вавилоне,
этот мир.
И как пробковый плот,
я отпущен в свободный полет
с не ушедшего от погони
корабля.

И над водами мчась,
уподобившись снегу и граду,
понимаю, что я в этот час –
часть ковчега,
воздушная часть,
не приставшая к Арарату.

Я смотрю с опустевших небес,
как, цепляясь за землю, за племя,
за огонь перезрелых невест,
за межи,
за отравленный лес,
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,
ослепленно, как ратник во гневе,
вы бредете по пояс в золе.
Я – один.
Ваши корни – в земле.
А мои – в небе.

ГРАНЕНЬЙ ВОЗДУХ

(1991 – 2001)

* * *

Кровит закат, пируют волки,
шипит мангал, сочится сок.
Все острова мои – осколки,
летающие наискосок.

Все корабли мои – на шлюпки
разменены давным-давно.
Как размалеванные шляхи,
рябины ломаются в окно.

Никто не собирает яблок.
Страна устала быть страной.
Лишь месяца бессонный ялик
вдали спасается, как Ной.

Не жди меня. И будут рады
сомкнуться у твоей руки
все будущие Арараты,
все прошлые материки.

А я сумею после взрыва
скользнуть по галечному дну,
как окровавленная рыба,
перекусившая блесну.

* * *

Что-то крылья летают отдельно от птиц,
или угол полета рассчитан неверно.
И блуждают зрачки в отдаленьи от лиц,
одинокие,
как голова Олоферна.

Эта женщина слишком лукаво молчит.
Я проигран.
Раскрыта крапленая карта.
Неужели столетье меня победит,
как в кино,
расстреляв из последнего кадра.

Был без ножен клинок,
без рояля мотив,
без любви голова доживает под ветром
на серебряной пике,
покуда Юдифь
настороженно прелюбодействует с веком.

Я тебя досмотрю.
Я – добыча твоя,
словно грязная кость для бездомной собаки,
что опасно роется в мусорном баке,
постигая гармонию небытия.

РЕКВИЕМ

Памяти Евгения Блажеевского

*Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет,-
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.*

Евгений Блажеевский

1.

Давай поговорим о пустоте,
проделавшей дыру в беспечном быте.
Недолго пребывая в пестроте
застолий и мелькающих событий,

поймешь, что арендован пустотой
на должность записного златоуста,
как арендован клен звенеть листвою,
покуда он листвою усеян густо,

как арендован ливень петть струной,
шептать и разливаться безвозмездно,
пока не взялся коркой ледяной
заросший пруд у твоего подъезда.

3.

...но рукой дрожащей доставая курево,
как юнец обиженный,
опоздав к обедне,
над провалом,
свищущим подле Троекурова,
задыхаюсь ревностью к своенравной бездне,

напряженно дышащей рябью спелых трав,
на которых плитами голуби уснули.
Это ж надо – выказать непокорный нрав
и споткнуться замертво
за версту до пули.

4.

А что мы знаем, в сущности, с тобой
о жизни облупившегося бюста,
торчащего фабричною трубой
в осеннем парке, где темно и пусто?

Он светится на вечной мерзлоте
бутылкой, принесенной на продажу.
И как сапог, прилаженный к ноге,
прилажен к облетевшему пейзажу.

Он предназначен пробкой на ветру,
как кляп для бочки,
как затвор для дула,
закрыть собой бессонную дыру,
чтоб по ночам из вечности не дуло.

5.

Две звезды из небосвода вытекли,
как глаза с потухшего лица.
Как тебе в подземном вытрезвителе?
Что ж не отрезвили до конца?

Вороны чернеют эпитафией.
Белый крест, как милиционер,
охраняет певчих обитателей
неподъемных, неподсудных недр.

* * *

Скупая геометрия зимы.
 Квадрат окна.
 Гипотенуза шторы.
 Две улицы, бредущие из тьмы,
 забытые, как заповеди Торы.

Два дерева на ледяном ветру
 углом склонились на манер холопьев.
 Красавица, рожденная из хлопьев,
 в моих руках растаяла к утру.

Мне холодно.
 В руке сжимая уголь,
 рисую стены.
 Дело – к февралю.
 И медленно делю шагами угол,
 как будто зиму надвое делю.

* * *

Памяти Юрия Левитанского

Все сбылось, наконец.
 Короли оказались голы
 и вальты.
 и эта дама в чужом окне
 наконец-то заснула, его глаголы
 повторяя в своем беспокойном сне.

И в песочных часах уже не песок, а пепел,
 да и тот просыпался сквозь стекло.
 И душа так легко срывается с петель,
 как калитка,
 ведущая к берегу, где светло,

где уже не важны
 ни глаголы,
 ни власть,
 ни вера,
 ни любовь, о которой он так молил
 ту страну,
 что живет по законам ветра,
 разносящего по миру
 коченеющий снег могил.

КРЕЩЕНЬЕ

Нам далеко до Иордана,
где струи, вязкие, как сок,
сочатся столь же первозданно,
как солнце, воздух и песок,

где к северу от Бет-Шеана,
что солнцем выкрашен, как хной,
толпа смиренно не дышала
в немислимый крещенский зной.

Слепцы, погонщики верблюдов,
менялы и поводыри,
и множество другого люда
стояли молча до зари.

Они искали место Богу
и суть, и формулу. И вот
спокойно обрели свободу
в купели иорданских вод.

Нам – далеко.
В снегу – осины.
Из сруба выперла скоба.
И весть о Человечьем Сыне
доносит хриплый лай собак.

Зато соседка на Крещенье
всех разом соберет к столу
и, наспех вымолив прощенье
у складня в вышитом углу,

достанет из печи просфоры –
вся распаленная, в золе.
Но тем решит проблему формы
и места Бога на земле.

* * *

Пока во мгле, подобно чуду,
звезда над Сретенкой горит, –
допить вино,
разбить посуду,
все распродать иль подарить,

и, пальцы в голову вонзая,
прощаться,
плакать без стыда,
купить билеты у вокзала
и не уехать никуда,

допить вино,
глядеть покорно,
просить прощенья в темноте,
захлопнуть дверь
и спать спокойно
с вязальной спицей в животе.

* * *

Почудится рывок весны
над перемерзшими погостами,
как крик беременной луны.
Прости нас, Господи.

Живем от Нойевых щедрот,
от исторического ила.
От наших северных широт
вода еще не уходила.

Она замерзла, как бокал
с вином.
И ветер правит миром.
И только смех – по кабакам.
И только стоны – по квартирам.

Нам пращур – Ной.
Нам мир – вода.
Нам плот – Отечество и вера,
и ледяные города,
во сне звенящие от ветра.

Я улетаю. Этот снег –
как ангел перевоплощенный,
как мир, заведомо прощенный,
поскольку нам иного нет.

Как весело, уйдя в полет,
(по Пушкину, мой друг любезный)
коньками звучно резать лед
над бездной.

* * *

И баба на метле...
И ангел на осяти...
И танцы под густой трамвайный перезвон...
И нищий, распустив нечесанные пряди,
склонился у метро,
как старый патефон...

И толчея огней...
И рожка на заборе...
И розовый Христос...
И елка на ковре...
И вскоре Новый год...
И женщина...
И вскоре
закончится декабрь
и сны о декабре...

И хочется взлететь
на выцветшем диване...
И красное вино...
И лампочка горит...
И ветер, и луна...
И, лежа рядом с вами,
неслышно, как звезда
с звездой говорить...

И нищий у метро...
 И пьяницы... И дети...
 И одинокий бюст в заброшенном саду...
 Шатается вагон...
 Кончается столетье...
 И станция...
 И все...
 И я сейчас сойду...

ДИПТИХ

1.

Самоубийство
 длиною в апрель,
 прыганье в окна,
 печатные лица,
 дни, близорукие, как нонпарель
 с полуистлевшей газетной страницы.

Женщины – вскрытые вены весны.
 Кровью – в тумане,
 как в смоченной вате,
 падают вниз на качелях вины,
 определяя, кто виноватей.

Кто виноватей, безжалостней? Кто
 молча уходит в разбухшее поле
 так, как с крючка опадает пальто,
 не достигая заветного пола.

2.

Женщина в доме – ни дочь, ни жена.
 Дочь и жена в двуедином наряде.
 Бродит по дому живая волна,
 словно сирень в придорожной ограде.

Бродит свобода, как бродит вино,
распространяя божественный запах.
Все облака улетают на запад.
Или уже улетели давно.

Женщина в доме. Апрель. Кутерьма.
Я задыхаюсь в свободном полете,
не осознав, что свобода – тюрьма,
скрытая в камере собственной плоти.

Впрочем, ни дома уже, ни жены.
Все растворили апрельские воды,
вдруг обнажившие лик сатаны
на оглушительной свадьбе свободы.

* * *

Бьет по осени,
как по лицу или в пах,
опустившись с небес до пивного ларька,
записным забудыгой, пропившимся в прах,
то ли дождь, то ли снег, то ли Божья рука.

Бьют по осени,
будто коленом под дых,
или пьяным осколком свистят у виска.
И усталое сердце, как тройка гнедых,
разрывая поводья артерий пустых,
разрывается, бросив в ночи седока.

Мне уже недоступна подобная прыть.
И гнедою кобылой съедая покой
недожеванной жвачки, у ваших корыт
помышляю о теле, чтоб душу укрыть,
чтоб вконец не замерзнуть на вашей Тверской,

где последний фонарь, догорая, горит,
где безродным пришельцем из дальних миров
я пытался заставить асфальт говорить
миллионом моих индевеющих ртов.

И пока мое горло забито куском,
и подвальной решеткою месяц распят,
ваши улицы бредят моим языком,
ваши окна моими глазами не спят,

наблюдая, как корчатся церкви в крестах,
как два бюста, сойдясь голова к голове,
задохнулись любовью в дрожащих кустах.

Я один.

Я неслышно иду по Москве.

Я уже произвел немудреный расчет.

Я покорен, как облако или река.

Но настойчиво гонит куда-то еще

то ли дождь,

то ли снег,

то ли Божья рука.

* * *

Осколки неба со стекла
слизав одним движеньем точным,
дворняга сумерек стекла
по ржавым трубам водосточным.

И мир,
теряя свет и тень,
и запах,
и остатки смысла,
срывался окнами со стен
в траву,
как ведра с коромысла.

Сушилось, обнажая дом,
уже ненужное исподнее.
Казалась бочка за кустом
забытым люком в преисподнюю.

И жизнь дрожала, словно ствол,
проросший сквозь чердак барака.
Под спудом ужаса и мрака
и смерть казалась Рождеством.

* * *

Выныривая из чужих ворот,
теряя коченеющий рассудок,
тону, беззвучный разева рот,
в аквариумах телефонных будок.

Твой голос, как спасительная дверь
в страну покоя и в страну обмана,
где голубь есть, где зеленеет твердь,
взошедшая из бездны океана.

Но из-под ног уходят острова,
срываясь, как трамваи из-под тока,
хотя еще безумствует Москва,
не чуя приближение потопа,

хотя еще твой голос по ночам
несется трелью телефонных линий.
Но первая стекает по плечам
вода сорокасуточного ливня.

Куда нам плыть, когда уже одни,
когда уже и дни теряют числа?
Я здесь пока. Я чист перед людьми.
Но на ковчег уже собрали чистых.

И вот, почти не ощущая плоть,
замороженный предпотопным действием,
иду по суше,
как ходил Господь
по непокорным водам иудейским.

* * *

И черным клювом дирижера
выклеывая зерна нот,
оркестр подобьем приговора
швырнул в рождественскую ночь

все то, что снилось,
то, что было,
все то, чему уже не быть,
ту женщину, что так разбила
бокал,
как разбивают быт,

как разбивают время суток,
как льды взрывают в январе.
Судьба – беременная сука,
замерзшая в чужом дворе,

где с тонким стоном ель качается,
как одинокий голос в хоре.
И суть не в том, что жизнь кончается,
а в том, что вечность на исходе.

* * *

Пафос. Враки. Слов немерено
нанесли к исходу века,
не заметив, как намеренно
убивали человека.

И свистел над самым ухом
топором веселый плотник,
отделяя плоть от духа,
отделяя дух от плоти.

Я за рубль глядел в зверинце –
в очередь, согласно чину,
звери-смерды, звери-принцы
шли на бой за мертвечину.

Сгинул век в дыре озоновой,
а за ним – людская масса
с философией, основанной
на куске сырого мяса.

* * *

Цепь революций и соблазнов,
 где что ни храм – то на крови.
 Любимые,
 вы безобразны
 в своей избыточной любви,

когда,
 затравленные псами,
 уже зарыв добычу в степь,
 вдруг возвращаетесь
 и сами
 себя сажаете на цепь.

А я один
 с печальной силой
 на историческом витке
 стою свободный и красивый
 с собакою на поводке.

* * *

*«Ночь, ледяная рябь канала,
 аптека, улица, фонарь...»*

А.Блок

Только ночь, аптека да канава,
 да базар за каменным мостом.
 Только ледяная рябь канала,
 как петлей,
 захлестывает дом.

Только пес,
 разворотивший урну,
 и кривая, как бандитский нож,
 улица ползет по Петербургу
 в черную рождественскую ночь.

Знаешь, друг,
 давай стихи зароем,
 по-собачьи разрыхляя снег.
 И – на четвереньки.
 И – завоем,
 возвещая двадцать первый век.

ПОВОДЫРЬ ДОЖДЯ

(2001 – 2011)

* * *

В дождевике, изношенном до дыр,
танцую над асфальтом, как над бездной.
Я – поводырь дождя.
Я – поводырь
воды небесной.

На площадях средь масок и личин,
на улицах, изрезанных трамваем,
я от дождя почти неотличим
и для людей уже неузнаваем.

Я – поводырь дождя.
И этот дождь –
единственный, кому еще я нужен.
Но, может быть, меня узнает дочь
по первым каплям и осенним лужам.

Но, может быть, меня узнает сын
по скользкому и вымокшему лугу,
по водосточным трубам, по косым
ручьям, перебегающим дорогу

по струям, разъедающим пустырь,
по шороху рябины бессловесной.
Я – поводырь дождя.
Я – поводырь
воды небесной.

* * *

Пространственная форма пустоты –
дыра в заборе
или кукиш рамы,
застывшие солдатские кресты,
свистящие из снежной панорамы,

звезда в ночи,
огонь из блиндажа,
самоубийство (как побег из плена),
фигура бесприютного бомжа
(как сгорбленная формула вселенной).

Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам,
как осень,
как отцепленный вагон,
как запах облетевшего жасмина.

За пустотой поникшего куста
сплошной пустыней
обреченно стынет
иная жизнь,
иная пустота,
иных пустот бесплодней и пустынной.

Давай с тобой уйдем через забор,
через дыру.
И станем переулком.
И станем ветром.
И закончим спор
на перекрестке суетном и гулком.

Так дерево становится золой,
так грешница становится невинной,
трава – стерней,
развалины – землей,
а роща – переливом соловьиным.

Так талый снег становится водой.
Так звездной ночью, распуская космы,
ты станешь ослепительной звездой,
перечеркнувшей падающий космос.

Нам выпала забавная игра –
щекочущий сквозняк далеких странствий.
Пространства нет!
Есть вечная дыра
в окаменевшем облике пространства.

Уйти из дома – как взойти на крест.
И стать крестом,
как злаку – коркой хлеба.
Так свищет над планетой Эверест,
смирненно принимая форму неба.

Мы вмертвую держались за скобу
 родного дома.
 Но скрипит со стоном
 гнилая дверь.
 Не обмануть судьбу.
 Ты чувствуешь? Уносит!
 Вместе с домом.

* * *

Осколки быта, словно бисер,
 зажав в пылающей руке,
 стою – ни адреса, ни писем
 в бутылках по Москве-реке.

Газетный плавает обрывок.
 Сплошной метелью замело
 усопший двор,
 раскисший рынок
 и грязных нищих у метро,

и Яузы неслышный лепет,
 и дом, закрытый, как Сезам,
 где вечный скульптор вечно лепит
 свой вечный кукиш небесам.

Стою, пока не понимая,
 куда меня смела метла,
 куда меня моя прямая,
 моя кривая занесла.

Как и положено поэту,
 я ничего не узнаю –
 по ту ли сторону, по эту
 безмолвной пропасти стою.

Стою расстрелянной мишенью
во всей расстрелянной красе.
И кто бы знал, что воскрешенье
страшней, чем пытка на кресте.

* * *

Еще темно.
И замысел не явлен.
Шумит вдали Богоявленский бор.
И сладкий запах августовских яблонь
клубится и уходит за забор.

Скупой фонарь ведет до поворота,
а там – уже неразличима суть.
Пойдешь направо – топи да болота,
пойдешь налево – голову снесут.

Смотрю из туч, как из коровьих ясель –
ни месяца, ни года, ни числа.
Еще не явлен замысел,
не ясен,
и книга жизни девственно чиста.

Ни шороха, ни возгласа, ни слова.
Поселок дремлет, звездами ведом.
И мир безмолвен.
Так безмолвен, словно
еще на русский не переведен.

* * *

Стальные тучи нянчили стерню,
 гудела печь, река гасила ветер...
 Ты – мой билет в далекую страну,
 которой больше нет на белом свете.

Но есть река.
 Но есть еще огонь
 иных костров.
 И – памяти осколки.
 Давай войдем в отцепленный вагон
 и тронемся, свисая с верхней полки.

И даже не спохватимся со сна
 и не поймем, что память – вид недуга.
 За окнами завоет тишина,
 изображая грохот виадука.

* * *

Крик – от улицы.
 Плач – от младенца.
 След – от шины.
 От ветра – трава.
 Никуда уже больше не деться
 от измены и воровства.
 Здравствуй, Авель!
 Ни бога, ни храма
 не бывало у нас никогда.
 Лишь столбы, как ночная охрана,
 по ночам стерегут города.

Стерегут от навета и сглаза,
 от любовей, волшебы, белены.
 Стерегут от циклопьего глаза
 бесполезной луны.

Надлежало в эпоху распада
 не разбрасывать камни, а брать.
 Только мне почему-то – не надо.
 Я не друг себе.
 Я себе – брат.

Здравствуй, Авель!
 С печальным укором
 не гляди.
 Повинуюсь судьбе,
 удаляюсь непойманным вором.
 Я – не сторож себе.

* * *

Памяти Бориса Чичибабина

Городской сумасшедший в потертом пальто,
с головой, отсеченной при жизни от тела,
беспризорный посланник природы, никто,
пустота, без которой земля опустела.

Как случилось, что город твоим языком
расшумелся вовсю, словно пьяный безумец,
словно этому городу был не знаком
перепуганный шепот заснеженных улиц.

И стекают, как чайки на белый песок,
с предзакатных вершин кокетельского неба
помидорного солнца густеющий сок
и степные лошадки Бориса и Глеба.

Нам уже не доступны ни Глеб, ни Борис.
Нам милее сверкающий меч Святополка.
Мы – стальная держава.
За что ни берись –
отзываемся эхом стального осколка.

Мы живем в словаре архаических слов,
в перепутанном напрочь – от «а» и до «я»,
где история – свод неразгаданных снов,
а Россия – метафора небытия.

* * *

Григорию Померанцу

Загадка снега – теорема духа.
Не доказать за недостатком формул.
Мир занедужил.
Суть его недуга –
размытость формы.

Все принимает форму снега. Ибо
без снега все – бесформенная груда
предметов.
Так бесформенная рыба
к рассвету принимает форму пруда.

Так мать с годами примет форму сына.
Так стынет в форме инея дорога.
Так ходят в лес молиться на осины,
застывшие под снегом в форме Бога.

* * *

На меня из тучи бородатой
 плянется, глазеет с давних пор
 то ли зритель
 то ли соглядатай,
 то ли вор.

Я в постель ложусь, не раздеваясь,
 и не сплю, как горная река.
 Кто-то смотрит, словно издеваясь,
 и свистит, как клакер, с потолка.

Робко прячусь, как окно, за шторы,
 нищий, словно кладбище ворон.
 Только воры, воры, воры, воры
 на меня глядят со всех сторон.

Кто-то шепчет и шуршит над ухом,
 и сулит награду, и поёт...
 Словно я и вправду нищий духом,
 и придет царствие моё.

* * *

Хочу к Иисусу Христу,
 туда, где луна – коромыслом,
 где черных ночей пустоту
 еще не заполнили смыслом.

Где воет, как раненый зверь,
 песок, перемешанный с ветром.
 И слово, скользнувшее в дверь,
 еще не назвали заветом.

Туда, где у самой воды
 еще не устроены церкви,
 и цели еще не видны
 и даже не выбраны цели.

Где спит на заре Назарет,
 как в обмороке глубоком,
 где юный еще назорей,
 пока не назначенный Богом,

в застолье к исходу поста,
 хвалу принимая и ругань,
 целует Иуду в уста,
 как самого близкого друга.

* * *

Беспокойный выблядок пустынь,
камень человеческого рода –
Господи, я тоже чей-то сын.
Просто затерялся среди осин
в чреве персонального сугроба.

Из-под рук уходит ремесло.
Жили-были. Выжили. Но вместо
озера – разбитое стекло,
голая равнина из асбеста.
Господи, куда нас занесло?

За какой случайный поворот?
По какой затейливой спирали?
Я украл или меня украли –
кто его сегодня разберет?

И свистят за лесом поезда,
словно стрелы из тугого лука, –
в никуда уходят, в никуда.
На хвосте оставленного звука
одинокое плещется звезда.

* * *

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.
Да, летал когда-то. Когда-то и это было.
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,
что меня на этой земле позабыла.

На земле, на которой все меньше и меньше места,
как в купе отцепленного вагона.
А вдали – луна, как брошенная невеста,
разрыдалась звездами в полнебосклона.

Что теперь говорить?
Я ведь тоже когда-то вызрел
в том краю, где растет виноград, и алеют вина.
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел
выбирает цель, которой уже не видно.

* * *

Ночь глуха.
 Ни ангела, ни вора.
 Никого. Из почерневших туч
 хлещет дождь. Не вышло разговора.
 Видно небо заперто на ключ.

Тайный, словно книга иноверца,
 зыбкий, словно тени при луне,
 ты зачем кинжальной болью сердца
 по ночам являешься ко мне?

Я не знаю, как тебе молиться.
 Я твоих творений не читал.
 Я безумен.
 Я един в трех лицах.
 Я устал.
 Я бешено устал.

Желтый лист, размазывая краски,
 гасит в луже огненную медь.
 Я устал, как Арлекин без маски
 устает кривляться и шуметь.

Но опять не вышло разговора.
 Ни любви не вышло, ни суда.
 Ночь глуха.
 Ни ангела, ни вора.
 Лишь одна холодная вода,
 да сырой дурак у светофора.

* * *

Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага.
 На иконе окна под музыку листопада
 догорает тополь, гаснут Твои стога
 потому что – осень.
 И мне ничего не надо.

Догорает тополь.
 Время медленно движется к октябрю.
 И, мгновенные истины у дождя воруя,
 нет, не «дай» говорю,
 «возьми», – Ему говорю.
 Потому что сегодня я дарю.

* * *

Мелькали забытые лица.
Над прудом звенела ветла.
Менялась погода. Смениться
погода никак не могла.

И бабочка-самоубийца
всю ночь колотилась в стекло.
И что-то должно было сбыться,
но сбыться никак не могло.

Как будто в одну увертюру
вложил одуряющий пыл
неведомый автор, но сдуру
про оперу позабыл.

И снов беспокойные пятна
жужжали, как веретено,
как в ночь накануне распятыя,
которое отменено.

* * *

Инне Лиснянской

Я охранял пространство и окно
от сновидений и дневного Бога.
Бродил по дому, допивал вино,
курил у деревянного порога.

Как сторож, окликал любую тень,
стоял столбом, как печь на пепелище.
Но кто-то вечно крался из-за стен
и проникал в уснувшее жилище.

И выдавал себя движеньем крыл,
и сквозняком, и осторожным шорохом.
Здесь Бог ночами тоже говорил.
Но только шепотом.

* * *

Что музыка?
 Один звучащий воздух,
 украденный у ветра и калитки.
 Мы тоже кем-то сыграны на скрипке.

И, словно тополиный пух, на воду
 сающийся, мы тоже безъязыки,
 как первый снег или ребенок в зыбке,
 как легкий скрип январского мороза.

Исторгнутые, словно сторяча,
 размашистым движеньем скрипача,
 ни замысла не зная, ни лица,
 обречены до самого конца
 искать следы шального виртуоза.

* * *

Юродивый, дурак, потомок пилигрима
 на улицах Москвы творит под Новый год
 молитву на уход из Иерусалима.
 Молитву на уход.

Молитву на уход от храма и допроса,
 от судей и суда.
 Раздавленный тоской,
 как будто от зевак на Виа Долороса,
 уходит от толпы по каменной Тверской,

где из больших витрин спокойно, как со сцены,
 играя свой спектакль с улыбками детей,
 на площадь у метро выходят манекены
 и бродят среди людей.

Осанна храбрецу, бежавшему от крови,
 от мелочных измен, от заполошных дур,
 от славы и от той пока невнятной роли,
 которую внушил всевышний драматург.

Пока в больной душе еще мерцает вера,
 и белый снегопад захватывает в плен –
 осанна храбрецу, от камня Агасфера
 бежавшему назад в блаженный Вифлеем,

где сеном дышит хлев,
и путь еще не ясен,
и гонят пастухи покорные стада,
и жертвенным быком у изголовья ясель
под самым потолком беснуется звезда.

ОСЕННИЕ ЯМБЫ

1.

Собаки носят осень
во всю собачью прыть.
И листья, словно осы,
слетаются в костры,

и лес перерисован,
и в небе – решето,
и мир перелицован,
как старое пальто.

И кто вчера был в силе –
уже не бог, а – шут.
Опять по всей России
сухие листья жгут.

И дым плывет, как призрак,
в стране лесов и рек,
где призван, но не признан
блуждает имярек

бездомный, как Мессия,
которого не ждут.
Опять по всей России
сухие листья жгут.

И, вырвавшись из плена,
взошедшая со дна,
пылает, как геенна,
великая страна.

2.

Но, отражая танец
огня, сверкнет тесак.
«А кто сегодня агнец?» –
вдруг спросит Исаак

у горного отрога,
где закипает ночь.
И если нету Бога –
кто остановит нож?

И что ему ответит
угрюмый Авраам?
Как страшно воеет ветер
по скверам и дворам!

Как долго тлеют листья,
меняя век на миг,
как будто тлеют лица
товарищей моих,

и так скрипят осины,
как будто кони ржут!
Опять по всей России
сухие листья жгут

и по лесам окрестным
торопят время вспять.
Как хочется воскреснуть,
пока другие спят.

3.

Последней электричкой
осенний вечер стерт.
Бреду, сжимая спички,
раскладывать костер,

пока на лес и купол
церковный, на острог,
на бледнолицых кукол,
стоящих вдоль дорог,

на добрых и недобрых,
на поле и ручей,
на ангелоподобных
воров и палачей,

на изумленных пьяниц
нисходит благодать.
Но кто сегодня агнец –
уже не угадать.

* * *

Умоляли пригорки, озера и лес,
задыхаясь под выцветшим сводом небес:
если есть еще кто-нибудь на небеси –
воскреси!

Воскреси хоть заблудшую душу одну,
воскреси опустевшую эту страну,
эту прорву земли,
это скопище вод
воскреси!
Воскреси хоть на время!

И вот

воскресаем всем кладбищем –
Боже, прости! –
на какой-то фальшивой скрежещущей ноте
воскресаем червонной монетой в горсти
и кусками лоснящейся плоти.

Воскресаем, вздымая на крашеный крест,
золотые пригорки, озера и лес.
И воскликнул Господь наш на небеси:
воскреси!

* * *

На рассвете последнего дня
у ограды Нескучного сада
воскресите при жизни меня,
после смерти – не надо.

Воскресите при жизни меня,
когда утро сверкнет перламутром.
Я воскресну, как вспышка огня
воскресает меж кремнем и трутом,

чтобы слушать, как дышит лоза,
подступая к обветренным скалам,
чтоб рассветное солнце в глаза
разливать, как вино по бокалам.

Воскресите заброшенный град,
тот, где тени блуждают по теням,
где усталый ночной виноград
осторожно крадется по стенам,

тот, где мать, не заснув до утра,
бросив жизнь свою под ноги сыну,
выходила на берег Днестра,
заменившего сыну пустыню.

Как забытую старину
воскрешает дотошный историк,
воскресите при жизни страну.
После смерти – не стоит.

МЕТАФОРА НЕБЫТІЯ

(2001 – 2011)

* * *

Господи, вспомни, ведь это же я –
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрестке.

Так и стоим под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждем.
Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и Сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне – тоже.

ТРИПТИХ

1.

А мне господь не дал проводника.
 Не понимая, где восток, где – запад,
 сорвавшись, словно сука с поводка,
 бегу, ориентируясь на запах,

под бесконечным ливнем октября,
 по осени, по прошлогодней гнили,
 мне черт – не черт,
 Вергилий – не Вергилий,
 а впереди – ни дна, ни фонаря,

ни улиц, ни зарубки на пеньке,
 ни звука.
 Лишь у мусорного бака,
 задравши лапу, писает собака,
 рисуя схему жизни на песке.

2.

Зачем дорога, если нет конца
 дороги?
 Для чего в краю осиновом,
 играя роли сына и отца,
 не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,

ни мастером, ни глиною? Зачем
 продрогшим псом под бесконечным ливнем,
 изнемогая от житейских схем,
 бежать стремглав за журавлиным клином?

Свободы нет!
 Незримый поводырь
 меняет вечность на часы и годы.
 Но горизонт, изъеденный до дыр,
 еще таит иллюзию свободы.

3.

Как хочется на круге на шестом
 или седьмом, когда иссякнет вера,
 остановиться, возвратиться в дом
 и в дураках оставить Люцифера.

Но нет уже ни дома, ни крыльца
 в пространстве, где ни выхода, ни входа.
 Как сладостна, как гибельна свобода,
 лишенная начала и конца.

Ревет огонь. Изнемогает ночь.
 И прямо посреди кипящей бездны,
 выламываясь из привычных нот,
 безумствует симфония победы.

* * *

Этот город – как кладбище детства.
 Позабывтый, чужой, ничей.
 Но уже никуда не деться
 от его воровских ночей,

от прохожих, бредущих несмело
 меж домов, как меж каменных плит,
 где уже ничего не болит,
 потому что уже отболело,

отзвучало, ушло. Как в полете,
 зависаю над ним, не дыша,
 словно я уже тоже – душа,
 отделившаяся от плоти.

Все мертво. Эти улицы, эти
 тополя завершили расчет.
 Здесь зачем-то рождаются дети.
 Здесь рождаются дети еще...

* * *

*Пора – пора – пора
 Творцу вернуть билет.*

Марина Цветаева

Красные рыбы в зеленом пруду.
 Желтые листья – по синему небу.
 Я никогда уже к вам не приду.
 Я никогда уже к вам не приеду.

Листьев и пуха беспечный балет,
 шелест реки и бездонное утро
 я променял на трамвайный билет
 неопознанного маршрута.

Тихий Тирасполь, Москва и Париж –
 помнишь, мы тоже когда-то там жили?
 Это твои города, – говоришь?
 Это – чужие, чужие, чужие.

Видишь – чужой распластался бульвар,
 Видишь – чужие усталые спины,
 видишь – чужой закипел самовар
 старого рынка возле Неглинной.

Мчатся вдогонку чужие дома,
мимо проносятся встречные рейсы,
и, словно шпаги героев Дюма,
кто-то скрестил параллельные рельсы.

Все сведено к одному образцу.
Но, от чужих городов изнывая,
вы возвращали билеты Творцу –
мы возвращаем билеты трамваям.

* * *

Покуда снег белил ворону
на самой маковке креста,
затягивала, как в воронку,
пугающая пустота.

И слепленные, как из ваты,
из этих снежных облаков,
белели в поле две кровати,
ночник и пара башмаков.

Мы были временем без места.
И, дотянувшись до небес,
шумел, как праздничная месса,
еще не вырубленный лес.

Мы долго елку наряжали.
Шел снег. И ночь сменялась днем.
И стыли на снегу скрижали,
начертанные вороньем.

* * *

На соседней террасе играли на скрипке,
крался месяц из тьмы, как застенчивый вор,
и незваные гости спешили к калитке,
но никак не могли просочиться во двор,

где шуршали под полом пугливые мыши,
где в углу, у колодца, скрипела бадья,
и в темнеющем небе был явственно слышен
на лету застывающий скрип бытия.

Я лежал на траве. Я был плотно укутан
в эту ватную ночь, как в чужое пальто.
И безглазое небо темнело, как купол
опустевшего шапито,

из которого зрителям в строгом порядке
надлежало по шатким ступеням стекать
в подворотни, где детям, играющим в прятки,
никогда, никого, ни за что не сыскать.

Я пытался понять, что бывает с ноктюрном,
улетающим в ночь за пределы смычка
в переулки, где нищие рыщут по урнам,
и ревет по подъездам собачья тоска,

где циничное время гуляет по паркам,
где уже никого никуда не зовут,
где ребенком, на игры и сладости падким,
я пытался поймать исчезающий звук

и смеялся, и глухо давился зевотой,
убегал и кому-то дерзил сгоряча,
догадавшись, что сам был отыгранной нотой,
жалким звуком, упавшим из рук скрипача.

И дальнейшее было смешно и нелепо.
Но глядело из мрака, дразня и маня,
бесконечное, страшное, черное небо.
Ну чего тебе надо еще от меня?

* * *

Ты сидишь, как икона, в углу –
отрешенно и прямо.
И суровую нитку в иглу
сквозь ушко продеваешь упрямо.

Может, что и сошьется. А нет –
побредем подобру-поздорову.
Долгожданный, провидческий снег
уничтожил дорогу.

И не скажешь: вот – Бог, вот – порог.
За метелью не видно порога.
Рождество.
Новогодний пирог.
Ни дороги, ни Бога.

* * *

Перерисую пейзаж за случайным окном.
Перерисую проулок и доски забора
перерисую.
И вспыхнет медовым огнем
купол березы, похожий на купол собора.

Сосны – на стены,
звезду – на печную трубу
перерисую, ничем для себя не рискуя.
Перерисую дорогу и даже судьбу,
если получится, заново перерисую.

И не взорвется в июле воинственный дождь –
как не воротится в ствол раскаленная пуля.
Просто не будет июля. И ты не придешь.
И хорошо. Проживем как-нибудь без июля.

* * *

Распахни свое зеркало настезь и тихо войди
в этот мир, отразивший закат и дыхание лилий.
Там такие же сумерки нынче и те же дожди,
что сперва на Волхонке, а после на Сретенке лили.

Распахни это озеро настезь, как створку окна,
и узнаешь, что время – всего лишь налет
зеленеющей ряски,
за которой светло, за которой у самого дна
возвращаются годы и живо меняются краски.

Там твоя электричка трубит, словно юный горнист,
покосившийся сруб устает за забором скрываться,
и такие же яблоки также срываются вниз
с обессиленных веток, как мне доводилось
срываться

и в московскую черную ночь уходить налегке,
позабыв обо всем, забыв о ночлеге и хлебе.
Никогда я не стану синицей в твоём кулаке.
Я твой вечный журавль.
Я твой крик в остывающем небе.

* * *

Я уже, наверно, тебе – никто.
Я тебе в этом времени журавлином –
как в шкафу отслужившее век пальто,
пересыпанное нафталином.

В небесах оставлены голоса
журавлей, что осенью улетели.
Уходя, оставляю тебе глаза,
чтобы день и ночь на тебя глядели,

доводя до безумия или до...
до того, во что и сама не веришь.
А в шкафу отслужившее век пальто
ты примеришь еще.
Обязательно ты примеришь.

* * *

Беспокойная сладость уйти и пропасть!
Как ребенок, из шкафа ворующий сласти,
не спеша обретаю свободу и власть.
Это страсть, – говоришь?
Я не ведаю страсти.

Неожиданный снег замечает окно.
Это – страсть?
Это воля, доступная ветру, –
этот снег,
этот свист,
это облако. Но
отвернись.
Я достану из шкафа конфету.

* * *

Пространство между Тверией и Тверью,
от Волги и до Галилейских вод,
едва сочится, словно свет под дверью.
Но связывает общий небосвод
и Тверию, откуда, неугодный,
в Крестителеву школу Сын Господний
пускался в путь, преодолая ночь,
и Тверь, где мрачно угасает вера,
где ходит в школу, заслонясь от ветра,
любимая,
моя,
чужая дочь.

* * *

Переход из осени в снегопад,
 когда женщина плачет и вoroжит,
 когда слово «жить» означает «спать»,
 а «спать» означает «жить».

Переход, таинственный переход.
 Переход, где минус сменяет плюс.
 Замерзает день, замерзает год,
 А я еще шевелюсь.

Не сердись, что долго к тебе иду.
 Я еще научусь выживать во льду,
 Я еще прокричу тебе изо льда:
 да!

Не сердись, что так долго я был дождем
 и стекал со стекла, как слезы со щек.
 Не сердись. Давай еще подождем.
 Может быть, замерзну еще.

* * *

Елене Черниковой

Осенний обморок. Лысеющий ноябрь.
 Осколки листьев – августа осколки.
 Жизнь погружается, как Китеж в Светлояр,
 на дно заиндевевшего поселка.

Осенний обморок. Изнемогает дол.
 И так пугает дальний грай вороний,
 что так и хочется запрятаться в подол
 добропорядочной Февроньи.

Осенний обморок. И медленно на нет
 сошла луна сверкающей подковой.
 И тихо так. И пробуетея снег
 на роль врача в больнице поселковой.

Как хорошо, что мы теперь вдвоем,
 и снег приносит истины простые
 о том, что мы еще переживем
 и тишину, и зиму, и Батыя.

* * *

Запятые птицами упорхнут
с пожелтевших страниц, едва
полевая гроза просвистит, как кнут,
перемешивая слова.

Потому что в начале был звук в ночи,
а не слово, не жест, не мысль.
Жизнь рождалась, как яростный треск в печи,
из которой бежала мышь.

И останется только этот треск,
эта мышь из печной норы.
Ну, а я, дорогая, всего лишь текст,
недописанный до поры.

А еще – собака. Я весь, как есть,
слышу все, чем живет навоз.
Оттого и страсть к перемене мест,
что бежит от тела, услышав весть,
непутевый собачий хвост.

АРМЕНИЯ
(2005)

1.

Христианство, спрятанное в скалы
так, чтобы другие не нашли.
Я не знаю, что они искали
в недрах заколоченной земли.

Я не знаю, от кого таились,
как посланье – в каменный конверт.
От жары, от Заратустры или
от других, нехристианских, вер.

Уходили, прятались веками
в эти камни, как нога – в сапог.
И живет, как вера, богокамень –
камнебог.

2.

Рокот молитвы.
Ропот теней.
Скорбные лики –
из-под камней.

Господи! Суций!
Если ты есть, –
камень насущный
даждь нам днесь!

3.

Белый месяц – выгнутая бровь
над зрачком невидимого Бога.
Так в горах скрывается дорога,
так за полог прячется любовь,
а топор – за выступом порога.

Звезды – словно вата из-под прялки.
Словно кто-то заново соткать
хочет небо. Звездная тоска
затерялась в звездном беспорядке.
Ночь тиха. Играем с Богом в прятки.
Он укрылся. Я иду искать.

4.

В небе, где тучи на скалы присели,
возле Севана у Аракелоца
я выбираю тебе ожерелье,
словно воды достаю из колодца.

И гематитовый камень на нитку
ключьями высохшей ночи нанизан.
Дай к твоим пальцам губами приникну,
бедная Лиза.

Я, как петлею, дорогой задушен.
Так не живут. Так скользят по карнизу.
Что же ты прячешься за подушку,
бедная Лиза?

Эти армянские камни, похоже, –
слепок с камней иудейских, пустынных.
Я ухожу. Я всего лишь прохожий
в сих палестинах.

А под Москвой облетают осины,
прячется Сетунь в подушку тумана.
Боже! Ну, кто тебя спрятал в пустыню,
бедная мама?

5.

Я только гость на этой снежной
земле.
И до исхода дней
я вечно тот, кто вечно – между
чужих бунтующих огней.

Но мне понадобились годы,
чтобы понять наверняка,
что в детстве пил пустую воду,
взамен грудного молока.

Что унесла меня не вера,
не мысль случайная, не цель –
я унесен порывом ветра
в слепую белую метель.

Уже не знаю: был ли, не был,
или придуман был тобой.
Как звук, исторгнутый трубой,
блуждаю в опустевшем небе.

Я выпаду тебе, как иней,
как снег, летящий в створ фрамуг, –
красивый, кареглазый и не
принадлежащий никому.

6.

Мы были там,
мы были рядом
с землей, опухшей, как от голода,
где облако над Араратом
хранило очертанье голубя,

что отыскал в кромешной мгле
кусочек земной бездушной плоти.
Как будто истина – в земле,
а не в полете.

7.

С наивностью великоросса
вверяя замысел словам,
кричу ему: «Севан, откройся!»
Не отворяется Севан.

Так мог бы написать Сезанн –
голубку облака над храмом
и больно бьющий по глазам
закат, стекающий за раму

окрестных гор, и сам Севан,
уставший прятать чью-то тайну.
Когда-нибудь и я устану.
Не отворяется Сезам.

И что нам надо было там,
где истина, сочась устало,
как мед стекала по усам,
да только в рот не попадала?

8.

Полночь новолуния. Ко сну
клонится фонарь у остановки.
Облака, как тканые обновки,
ветер надевает на луну.

Ночь черна, как высохшая кровь
в жертву принесенного барана.
И клубится вытянутый ров –
как сквозная ножевая рана.

Полночь новолуния. Четверг.
Хищный клекот горного потока.
Ночь черна. Ни юга, ни востока.
Ожидаю рейсовый ковчег –
рейсом до ближайшего потопа.

Спрячь меня, Армения, на дно
горной бездны – профилем на скальном.
Я согласен.
Я готов быть камнем
с прочими камнями заодно.

9.

Армения – страна в задушенном кармане
раскормленной горы.
Здесь прячется душа, как Иисус в Кумране
скрывался до поры.

Две узницы одной таинственной идеи –
лицом к лицу.
Армения – сестра пустынной Иудеи
по небу и Отцу.

А я тебе – никто. Ни пасынок, ни деверь,
ни сват, ни брат.
Ревет аэропорт. Я выставлен за двери,
как ты – за Арарат.

В ОСТЫВАЮЩЕМ НЕБЕ

(2011 – 2021)

* * *

Я вырос на руинах той войны,
там, где за водкой и в кровавых драках
вернувшиеся с фронта пацаны
достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,
размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
заделаться убийцей или вором.

Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился.

Пока вели угрюмый разговор
крутые мужики в угаре пьяном,
мы пядь за пядью занимали двор,
заросший повиликой и бурьяном.

Мы шли на штурм разболтанных оград
чужих садов, ломая ветки с хрустом,
не славы ради и не для наград –
там был наш враг.
А я считался русским.

Я шел вперед. Я был почти комдив.
 Мы против комьев в полный рост вставляли.
 Ворчал сосед: мол, мало вас, жидив,
 фашисты на войне поубивали.

Безногая, безрукая война
 еще блуждала в переулках стертых,
 выменивая хлеб на ордена,
 сверкавшие на грязных гимнастерках.

И что нам до Великой Мировой,
 застрявшей в историческом провале,
 когда уже и с нашей, дворовой,
 иных уж нет, а те – отвоевали.

* * *

И когда это было – мне вспомнить уже не дано.
 На царапину памяти не наложить подорожник.
 Но всплывают ночами, как кадры цветного кино,
 балагула, веселый портной и безногий сапожник.

Три ошибки войны, по ошибке оставлены жить
 в этом маленьком городе, там, где по воле Господней
 вечным Жидом назначен был каждый
 расстрелянный жид,
 под стволом автомата встававший на край
 преисподней.

Три ошибки судьбы выпивали сперва по одной,
 бесконечный свой спор завершая едва ли не дракой.
 Балагула – уздечкой, портняжьим лекалом – портной,
 а безногий сапожник сурово размахивал дратвой.

И на их пиджаках полыхали войной ордена
 за Берлин и Варшаву, за взятие рая и ада.
 За безногую жизнь осушали стаканы до дна,
 и за то, чтобы помнилось то, что и помнить не надо.

Три ошибки беды – рядовой государственный сор, –
 как подбитые птицы, клевали субботнюю пайку
 и тянули вино, и тянули пустой разговор,
 и тянули, напившись, свою «тумбала-балалайку».

Где я видел их лица? Зачем выплывают они
из далекой страны, нагоняя тоску и усталость, –
из забытых времен, от которых остались одни
головешки пожариц, и даже страны не осталось.

На руинах страны догорел окровавленный век,
что охотился так, как за дичью охотится лайка.
Только ветхая память осталась, сухая, как Ветхий
Завет.
Только три старика. И суббота. И «тум-балалайка».

ОТЕЦ

Значит, август.
Значит, дело в августе.
Не на Спас – так на яблокопад.
Так забытый мяч, застрявший в ауте,
яблоком в траву уходит спать.

Значит, август.
Значит, дело в яблоке,
так и не надкушенном, чужом.
Старой Евой на воздушном ялике
уплывала лучшая из жен.

Таял голос в полустертой скрипочке,
взятой в плен на той большой войне,
где судьба висела, как на ниточке,
на одной подпиленной струне.

Подавив в себе остатки крика,
то вздыхая, то визжа, как плеть,
как она скрипела это скрипка!
Как, срываясь, умудрялась петь

про друзей, про тех, что папиросы
так и не купили никогда.
И беззвучно выпадали росы
на разрушенные города,

где неслась разлука-ты-разлука
с этой и с противной стороны.
Я на свет родился тенью звука,
чудом долетевшего с войны

в мир, где ты, храня в дырявом ранце,
вместо жезла, – свой заплечный рок,
сам себе назначил долю агнца,
за которым явится пророк.

ПОПЫТКА БАЛЛАДЫ

Они живьем зарыли прадеда
и кузницу его взорвали.
Наверно, это было правильно –
иначе бы не зарывали.

Иначе бы Талмуд почитывал
и раздувал мехи для горна,
скупую денежку подсчитывал
и жил себе, не зная горя.

А так – зарыли вместе с пейсами,
Талмудом и кузнечным потом,
с тоскливыми, как осень, песнями,
что пел за рюмкой по субботам.

А сын его вскочил на серого
и скрылся в Колкатовой Балке,
хотя за ним рванулись семеро,
мотоциклист и две собаки.

Затем, презрев шестую заповедь,
оставленную праотцами,
он растворялся в трупном запахе
в одной колонне с мертвецами.

За дом, за кузницу, за прадеда
он шел на Прагу и на Вену.
Наверно, это было правильно –
иначе бы не шел. Наверно.

Иначе бы Талмуд почитывал
и раздувал мехи для горна,
скупую денежку подсчитывал
и жил себе, не зная горя.

А мне велят сегодня каяться
за то, что мы переплатили
за кузницу, за то, что, кажется,
не так, как надо, победили,

за то, что жили так несправедно,
неправильные песни пели.
За то, что закопали прадеда,
а деда так и не успели.

* * *

Его хотели расстрелять одни,
потом другие. И вполне за дело.
За то, что был. И солнечные дни
тянулись от расстрела до расстрела.

Он жил меж ними. Среди тех и тех.
Меж двух дождей, меж двух бессонных речек,
меж двух смертельных огненных потех,
перемешавших лица и наречья.

Меж двух времен, сменявших день за днем,
где голос неба страшен и неистов,
где сад, размытый солнцем и дождем,
как на картинах импрессионистов,

плодил плоды.
И люди, как во сне,
счастливые и мудрые до рвоты,
уверовав, что истина в войне,
построились повзводно и поротно,

уверовав, что надо исполнять
кантату, раздирающую уши.
Удачи вам. Свободы. Исполать,
пока на ветках созревают груши.

Когда уйдет великолепный век
уверенно стрелявший из засады,
останется последний человек,
тот, что когда-то не покинул сада

и медленно учился продавать
плоды деревьев, как плоды надежды.
Так продавать, как будто подавать
и тем, и тем. И оставаться между.

И слушать, как отчаянно поет
оглошшая синица на рассвете.
Ее ведь тоже кто-нибудь убьет.
Не те – так эти.

* * *

Я воровал березовые чурки,
и соскребал с коры сосновый клей,
чтобы в огне обшарпанной печурки
моей осине было веселей.

И словно растревоженные мысли,
где каждая по-своему права,
чернильным дымом из печи, как мыши,
бежали в небо мокрые дрова.

Я жил, нигде не прикипая к месту,
и руки примерзали к топору,
когда, скрипя, торжественную мессу
осины совершали поутру.

Я жил в краях, где из-под ледостава
бездомные ломились топляки,
но злая, подозрительная слава
брела за мной вдоль берега реки

и темным лесом, тропками прошитом,
где, не предав ни Ягве, ни Христа,
я шел снегами Вечным русским Жидом,
и мне во след свистели поезда.

А впереди, отмеривая даты
и километры, плелся зимний лес –
как Моисей, седой и бородатый
и как Христос, вернувшийся с небес.

* * *

Скульптура дерева. Иллюзия огня.
Цветная улица, сбежавшая с палитры,
и бюст прохожего, и на исходе дня –
горящий купол каменной молитвы.

Скульптура хохота. И чучела собак,
рванувшись из кустов, как из-за ширмы,
сосут заледеневший бензобак
небрежно припаркованной машины.

Скульптура площади, где рыночный сатир
торгует нимфам каменные кости,
и где торжественно из каменных квартир
ко мне приходят каменные гости.

Бежать, – покуда вечер не погас,
пока еще не поздно и не рано, –
на станцию и у билетных касс
случайно встретиться с Карениною Анной,

готовую скользнуть за парапет,
туда, где ни любви, ни парашюта.
Послушай, Анна! Для чего тебе билет?
Туда уже не продают билета.

Нас не учли в расценках на отъезд
и страховой не выписали полис.
Но бог не выдаст, и свинья не съест,
пока на рельсах изнывает поезд,
и жжет охота к перемене мест.

* * *

В осеннем парке, где тоскует бюст,
и слышен звук неведомого ритма,
где солнце опускается на куст,
как розовое яблоко Магритта,

и тропы выползают из травы,
как выползают титры из-за кадра,
и клены, словно храмы на крови,
роняют листья клочьями заката

на берег и на гипсовых девиц,
оставшихся от прошлых измерений.
Но гаснет свет. И выраженья лиц
стирает ночь и поглощает время.

О, эта поза девушки с веслом
и девушки-метательницы диска
в те дни, где детство пущено на слом,
и где на баритон менялся дискант.

Где рифмовались и любовь, и кровь
во время драки на цветочной клумбе
под крик цикад, мычание коров
у танцплощадки в поселковом клубе.

О, память! Я сегодня так устал
глотать любовь кровоточащим горлом,
что хочется залезть на пьедестал
с гребным веслом и пионерским горном.

* * *

Осенний парк. Рябина-недотрога.
Седой травы заиндевевший шелк.
И так звучит осенняя дорога,
как будто утром Моцарт тут прошел
и потерял, и больше не нашел
все то, что ночью вымолил у Бога.

* * *

Чертыхаясь, иду по рыхлому снегу.
Цели нет. Осталась одна усталость.
Фонари скользят по черному небу,
словно фильм закончился, а титры остались.

Фильм закончился, но ничего не доказано.
И вот этот, который в чужом пальто,
Понимает: что-то еще не досказано,
не понимая – что.

* * *

Мы обойдемся без вина,
когда спокойно и бесстрастно
растает в сумерках страна,
замороженная пространством.

Пока не посох и сума,
бегите от нее, бегите.
А я еще сойду с ума,
застряв в заснеженном Египте.

И, завершая бытие,
сложу расхристанные строфы
о том, что бегство от нее
страшней, чем бегство от Голгофы.

* * *

Маше Ватутиной

Бог в России живет не в хоромах
и не в храмах, где льется елей.
Бог живет на насупленных кронах
облетающих тополей.

Бог живет на дубах и осинах
и плетет за узором узор
на иконах пронзительно синих
чудотворных озер.

Дышат тайной древесные руны
на свистящем пространстве пустом,
где Дажьбог породнился с Перуном,
а Перун породнился с Христом.

Пахнет кровью таежная месса.
Рвется в небо январская стынь.
И молитва почти неуместна,
как и выбор святынь.

На развилке меж адом и раем,
где блуждают лишь ветры одни,
ты поймешь, что не мы выбираем.
И не нас выбирают они.

* * *

Беспокойное небо. Живу, как на дне.
Тучи свесились конской гривой.
Каждый день просыпаюсь в другой стране,
будто каждый день эмигрирую.

Я смотрю в окно. Полустанков нет.
Только воет пес у сарая.
Тот же самый двор, тот же самый снег,
а страна-то совсем другая.

Отхлебну воды, отвернусь на миг,
нарисую на стенах метки,
чтоб назавтра понять: от себя самих
мы теперь на каком километре.

* * *

*Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...*

Осип Мандельштам

Эта осень расставила все по местам
и застыла на веки веков.
Потому что кончается век-Мандельштам
и является время волков.

Если все волкодавы сидят на цепи,
ожидая бесплатных костей,
я не чую дыханье сибирской степи
и не жду вороненых гостей.

Только месяц в распахнутом небе страны
золотыми ушами прядет.
Мы давно и настолько уже не нужны,
что за нами никто не придет.

Только бродит по улицам ветер-солист,
спотыкаясь на каждом углу.
И, похожий на сердце, изношенный лист
прилипает к ночному стеклу.

* * *

И когда, скользнув по камням покатым,
я проник в игольное ушко,
даже не оцарапав кожи,
стало ясно,
что уже мне не быть богатым,
и верблюдом – тоже.

За стеной, где закат – как арбузный сок,
где еще недавно велась охота,
беспольные кони грызут песок,
и беспомощно валится в пыль пехота.

Я проник за камни, за самый край,
в то пространство,
где уже ни войны, ни паники,
где чадит огнями внезапный рай,
как церковный канунник – свечами памяти.

Где актёром, уже наложившим грим,
но пока не признанным за этим гримом,
вырастает из пепла Четвёртый Рим,
ещё не опознанный Третьим Римом.

Где уже никому не быть и не сметь
быть властителем или жертвой.
Где предтечей жизни блуждает смерть
окровавленной акушеркой.

* * *

Кругом песок.
И лица – как из гипса.
И неба расплзающийся шелк.
Наверно, я не вышел из Египта.
А если вышел – так и не дошел

до купины, до истины, до света
и до обломков золотых тельцов.
И без меня святой Ковчег Завета
пылал на спинах новых мудрецов.

Они меня нарочно не пустили
на этот пир, закрывшись на засов.
И мне уже не выйти из пустыни
и не догнать отцов и праотцов.

И я пошел по зимникам, заимкам,
в краю, где мир сугробами зачат,
где в зимнем небе моментальным снимком
тоскует замороженный закат.

Кругом снега.
Замерзшие осины.
И схваченная инеем луна.
И мне уже не выйти из России,
пока в снегах не вспыхнет купина.

* * *

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось.

Когда в лесах завоюет тишина,
а снайперы, уставшие по целям
работать, выпьют горькую до дна,
по рыночным закупленную ценам,

когда воронки зарастут травой,
и снова обретется чувство меры,
останутся до новой мировой
последние минуты или метры.

Лесные звери выйдут из лесов,
и Гамлет, ослепительный и легкий,
пойдет на бой за тени всех отцов,
убитых и освищенных с галерки.

Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почете.
И на погостах крест пойдет на крест.
Все будет хорошо, в конечном счете.

И ворон принесет благую весть,
запрятанную в гроздьях винограда,
что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть
не только на вершине Арарата,
но в Химках или Солнцево. Бог весть,
где для героев сыщется награда.

* * *

И скрежет дальних поездов,
и мост, влюбленный в оба берега,
и ревность берегов, и снов
необъяснимая истерика,

и бюст на вымокшем углу
и светофор на повороте,
и осторожный поцелуй
в пристанционной подворотне.

Вертявая, как сучий хвост,
любовь, отмеренная в граммах.
Переселенные на холст
прекрасные уроды в рамах.

И можно жить, и петь, и пить,
в старинном доме на Фонтанке,
куда Вергилий мог бы Данте
кругами времени водить.

Гуляй, родная сторона!
Назавтра обещали пятницу.
Меня зарежут, словно пьяницу,
укравшего бутылку вина.

И загудит страна осенняя,
 вымаливая у Отца
 то ли чудесного спасения,
 то ли прекрасного конца.

И снова будет жизнь раскола
 на две большие половины.
 Гомер. Бессонница. И комната,
 где тускло дремлет пианино

и где холодная, как мачеха,
 в углу горбатится кровать.
 А за окном гуляют мальчишки,
 готовясь жить и убивать.

* * *

Сереет небо из пластмассы,
 кончается Четвертый Рим,
 цветет неон, внимают массы
 евангелию от витрин.

Горит, горит реклама пиццы,
 крадется улицей стена,
 и бьется тень самоубийцы
 возле открытого окна.

Брожу по улицам без прока,
 а так, чтоб только грязь месить.
 Чем меньше на Москве пророков,
 тем больше на Москве мессий.

Они пришли. Я знаю цены
 на водку и газетный лист.
 Спокойно, как актер со сцены,
 скрываюсь в тишине кулис

пока толмач толмачит бодро
 и переводит, как с листа,
 язык беспомощного бога
 на жирный дактиль живота.

* * *

Сжимается пространство языка.
Немеет ночь. И лишь твое дыханье
бездомной кошкой бродит у виска
и греет душу, как вино в духане.

Немая улица. Шагреневый язык.
Немые сны на выцветшем диване.
Как будто разлагаются азы
не слов, а самого существованья.

Так вот она, земная благодать.
Вот это слово, что во чреве бьется
и задыхается. И можно не гадать –
оно уже никак не отзовется.

А за окном спокойно, чуть дыша,
самоубийцей снег уходит в лужу.
Зародышем во тьме карандаша
томится стих, не выходя наружу,

безмолвный, словно снимок в паспарту,
или как ратник у истока битвы.
Сидит и ждет, пока я обрету
пространство для любви и для молитвы.

* * *

Да что страна, ее леса и недра,
когда с какой ни глянешь стороны –
страна всего лишь продолженье неба,
как небо – продолжение страны.

И только снег, летящий мимо, мимо
чужих домов, где мог бы жить и я,
напоминает о единстве мира,
единстве быта и небытия.

Ведь в сумерках, лишённых дара речи,
так поступь снега сказочно легка,
что от покатых крыш Замоскворечья
почти неотличимы облака.

И кем бы мы не стали, обессилив, –
вечерней тенью, облаком, золой –
когда-нибудь небесная Россия
соединится с русской землей.

МИЛЛЕНИУМ

Поэма распада

*«... и я увидел
звезду, падшую с неба на землю,
и дан был ей ключ от кладязя бездны...»*

Откр. Св. Иоанна Богослова (гл. 9, 1)

1.

Спасибо, не пошли с сумой
вдоль занесенных снегом улиц,
где зарешеченной тюрьмой
фонарь шатался, как безумец.

Спасибо, не сошли с ума,
кочуя по чужим постелям,
по черным залам синема,
где тени рыскали по стенам,

по подворотням и дворам,
где даже музыка осипла,
из-за окоченевших рам
сочась на улицу.
Спасибо.

Дома, промерзшие до дна,
таили окна, как бойницы.
Неслась безглазая луна,
сбежавшая из психбольницы.

И только нищий на трубе,
горящей, как в ночи лампада,
аккомпанируя судьбе,
играл мелодию распада.

2.

Я оглянулся: ты была
последним отблеском надежды.
Черней вороньего крыла
летели черные одежды

на снег.

И я к тебе приник,
как к стенам никнут барельефы –
черноволосый проводник
с глазами черными, как трефы.

Мы шли, не разжимая рук,
благообразные, как дети.
И дети с лицами старух
тебе протягивали деньги.

И в доме, пущенном на слом,
изнемогающем от грязи,
наш сон был кратким, как псалом,
и, как псалом, однообразен.

За окнами гремела медь.
И мы, заснув, не то чтоб спали,
а репетировали смерть,
раскинувшись на одеяле.

3.

Иных времен поводыри
следят за мною неустанно,
как из космической дыры,
со дна граненого стакана.

Ниспровергатели основ,
заложники безумной страсти,
помимо страшной власти слов,
иной не ведавшие власти,

наперсники любых стихий,
не знавшие ни сред, ни пятниц,
читавшие свои стихи
толпе полуголодных пьяниц

за рюмку водки, за пятак,
за долю, посланную Богом.
Вы жили так, и пили так,
как пьет пехота перед боем,

чтобы упасть наверняка,
чтоб просвистеть, как ветер свищет.
Я вами брошен на века
наместником на пепелище.

4.

Тая космический оскал,
холодный, будто из пластмассы,
кривой проулок вытекал
на площадь, где белели маски.

Там были Эрос и Эфир,
и прародительница Гея.
Еще не вылепленный мир,
как первобытная идея,

под масками, в глухой ночи,
в белилах снега, как в известке,
плясал.

И мы, уже ничьи
на этом страшном перекрестке,

как погребенные живьем,
застыв в недоуменной позе,
не понимали, где живем:
до Сотворенья или после.

И распозалась по Москве,
как трехголовая Химера,
пристегнутая к голове
нечеловеческая эра.

5.

И мы бежали вглубь двора,
в котором бледный, как пергамент,
с какой-то тенью до утра
шептался сумасшедший Гамлет.

Где в маске, как на Новый год,
срывая голос песней хриплой,
меж стен шатался Гесиод,
как между Сциллой и Харибдой.

Где с Геей обнимался Лир,
как будто здесь уже навеки
смешались разом этот мир
и тот, что выдумали греки.

И, видимо, сойдя с ума,
с ужимкой ерника и вора
«Итак, – хвала тебе, Чума», –
орал арап из-за забора.

За ним топтался пьяный сброд,
ежесекундно чертыхаясь.
И прямо у чужих ворот
взрывался первобытный хаос.

6.

А за углом сверкал кабак,
расслаивая ночь на части.
Там свора уличных собак
объедками чужого счастья

давилась.
Там цвела игра,
там чинно ужинали гости,
швыряя в черный снег двора
бутылки, галстуки и кости.

Там люди, встав из-за стола,
как в ненавистные мишени,
в упор стреляли в зеркала,
уничтожая отраженья.

И речь, тягучая, как сок,
о ценах зрелища и хлеба
лилась серьезно.
Только Бог
смеялся в подворотне неба.

Там из раскрытого окна
блевал герой гламурных оргий.
И на груди его Цена
горела, как почетный орден.

7.

Итак, хвала тебе, Цена! –
Чума ухватистого века,
как азбука, как «Отче наш»,
как новая скрижаль Завета,

как крестный путь в Ерусалим,
заученная до икоты.
И люди на огни витрин
молились, словно на иконы.

И бюст с поникшей головой,
и трагик, вышедший на сцену,
и пилигрим, и постовой –
все на себе носили цену.

Все уходило с молотка –
машины, храмы, манекены.
И продавец из-за лотка
сиял, как золото Маккены.

Но вился дым по мостовой,
окутывая дом за домом.
И торф, горевший под Москвой,
шипел, как сера под Содомом.

8.

По сковородкам площадей,
кипевших рынками и псами,
среди испуганных людей,
орущих злыми голосами,

ты все еще меня вела,
как нитку, что в ушко продета,
сшивая воздух, как игла
на крыше университета.

Но медленно кончалась власть,
и песенка была допета.
Ты не вела уже – вилась
поземкой посреди проспекта.

И, вылюбленная до дна,
лишившись замысла и роли,
ты, словно Лотова жена,
столбом из белоснежной соли

застыла, глядя на закат,
на улицы из снежной ваты,
что к Яузе стекались, как
к урочищу Иосафата.

9.

И только нищий на трубе,
горящей, как в ночи лампада,
аккомпанируя судьбе,
играл мелодию распада.

Играл мелодию Суда,
спокойного, как переключка:
тебе – туда, а мне – сюда.
Печально пела электричка,

цвела реклама над Москвой,
вскрывались реки, словно вены,
по опустевшей мостовой
бредли беременные ведьмы.

И, криком раздирая ночь
и мрак ее купели черный,
на этот свет рождалась дочь,
как ангел перевоплощенный.

Как будто повернула вспять
Звезда из Нового Завета.
И страшно было повторять:
Россия, ночь, Елизавета.

МЁРТВОЕ МОРЕ

(2011 – 2021)

* * *

Море – форточка неба, которую выбил Бог.
И свобода – уже не свобода, а пепел Завета.
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,
за пределом любви, за пределом пространства и света.

Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом,
в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся
моли.

Что ни город вдали – обязательно город Содом.
Что ни море у ног – обязательно Мертвое море.

И куда не пойду, и чего не коснется рука –
все уходит в песок, обращается все в пепелище.
Я влачусь по пустыне.
Я – часть мирового песка
из песочных часов,
у которых оторвано днище.

Говорила, что я не умею уже любить,
что любовь перепутана с болью.
Но любить человека – значит почти убить
человека вместе с его любовью.

Море – форточка неба.
По небу гуляют ветры.
Только ветры шумят.
И законы почти пусты.
Потому что уже подступает конец геометрий.
И из точки «я» все труднее добраться до точки «ты».

* * *

Меня прислали сказать вам, что он не придет,
Но мне самому не сказали, что он не придет.
«Он не придет», – хожу я и всем говорю,
не замечая, что дело движется к октябрю.

Не замечая, что дело движется к холодам.
Осень искрит, как улей, как Нотр-Дам.
Месяц серебряным ухом в стойле небес прядет.
«Он не придет, – говорю я. – Он не придет».

Скверы, трамваи, бюсты, реклама вин.
Мы – словно две собаки. Холодно нам двоим.
«Он не придет», – хожу я и говорю,
не замечая, что дело движется к октябрю.

Стынет трубач в подъезде. Спит виолончелист.
Снова вырастает в ветку желтый опавший лист.
Музыка заблудилась. Кто не придет? К кому?
Ум уже неподвластен собственному уму.

«Он не придет, – заклинаю. – Он не придет».
Кто-то шуршит над ухом, словно меня крадет.
Тени ворон. Аптека. Сходка ночных воров.
Лай поцелуев из проходных дворов.

* * *

Вороватое небо крадется в закрытую дверь,
то вселенским дождем, то дверною цепочкой звеня.
Бьется голубь в стекло. Неопознанный раненый зверь
причитает в ночи: «Это я, это я, это я».

Кто-то воеет в окне. То ли пьяная баба с метлой,
то ли дождь затяжной, то ли свора бездомных
дворняг.
Догорает осина. И пахнет печною золой.
И в дырявую дверь проникает внезапный сквозняк.

Что сказать тебе, друг, про бездомную жизнь
сквозняка,
бесконечную жизнь, что сочится, не зная границ,
и внезапным ознобом доносит к тебе сквозь века
вереницу событий и тени исчезнувших лиц?

Я не помню событий. И лица почти не видны.
И билет на ковчег не оставил мне праведник Ной.
Лишь свирепые стрелы с давно позабытой войны
прошивают пространство и снова свистят надо мной.

Это голубь в окне. Это шелест тревожных шагов.
Догорает осина, и ржавые петли поют.
Это север во мне серебрится сияньем снегов
на таежных деланках. Но все-таки тянет на юг.

* * *

Не трожьте лебедя и ворона не ешьте,
а также цаплю, пеликана и удода.
Но прежде — ворона. И ближнего не режьте.
Не режьте ближнего — испортится погода.

Мы жили весело. И ворона не ели.
Стучали в бубны, пировали на поминках,
когда и пули нам свистели, как свирели,
и подрывались наши ближние на минах.

Но заповедал в Книге жизни или смерти
кудлатый выродок, пророк чернобородый:
не трожьте голубя и ворона — не смейте,
поскольку ворон неприемлемой породы.

Сегодня дождь смывает яблоки с деревьев —
как будто души избавляются от плоти.
И просыпается размытая деревня,
перенесенная с сезанновских полотен.

Как неожиданно испортилась погода!
Никто и знать не знал, не думал и не ведал.
Наверно, кто-то человеческого рода
на ужин цаплю или ворона отведал.

И дым клубится по-над выгоревшей нивой.
И скачут лошади, сбежавшие из Трои.
И где-то рядом, за Днестром или за Нилом
уходят в сумерки уставшие герои.

Им было облако и море — по колено.
Кутили за полночь, но заповеди чтили.
Все было б правильно, «когда бы не Елена».
Точнее — ворон. Вот его и не простили.

Бежали месяцы, как кровь бежит по венам.
Мы жили весело, того не зная сами,
что кто-то ворону однажды заповедал
кружить над площадью, усеянной глазами.

* * *

Илье Бершину

Средиземное море теряет ритм,
и волна пожирает волну.
И звезда уже больше не говорит
со звездой и идет ко дну.

И голодное море – только грим,
нанесенный на лик веков.
А на дне средиземном тоскует Рим
синкопическим лязгом оков.

А на дне средиземном пылает Храм,
изнывает Ирод, и род
человеческий заново к топорам
призывает беспечный рок.

И расплавленный ворон в дыму парит,
завершая тоскливый круг.
И из пены выходит не Кипр, а крик
Афродиты, лишенной рук.

И гремит барабанщик, не зная забот,
закипает кровь на губах.
Аритмия,
синкопы,
убитый Бог.
Иоганн Себастьян Бах.

* * *

И снова я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю.

Я знаю: за чертой готовят плаху!
Да будет казнь!
Да будет на заре!
Мир праху твоему! Свобода – праху,
свободному, как кровь на топоре,

в театре, где история – раба,
безгласная служанка Мельпомены,
рожденная, как Ева из ребра,
из синтеза коварства и измены.

Как та Иерихонская труба,
невинная приспешница Навина,
история преступна и невинна,
невинна и преступна, как раба,
страшащаяся вечно не успеть
на вечный пир, на собственную смерть.

Вот так и я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю,

что по пятам за мною из огня,
поспешно за собой мосты сжигая,
бежит, бежит, за мной не успевая,
эпоха обреченная моя.

* * *

Дальний пригород. Ночь холодна.
Чьи-то тени на белой стене.
Словно здесь не земля, а луна
на обратной ее стороне.

Наизнанку развернутый свет.
Наизнанку развернутый звук.
Это снег. Это новый завет.
Это снова куда-то зовут.

Это манна засыпала двор
и дома, и мою колыбель.
Лишь у мусорной свалки, как вор,
озирается старый кобель.

Это снег. Это новый завет.
Это неба разодранный кров.
Из-под белого снега на снег
проступает ленивая кровь.

По дороге, под топот и лай,
где столбы из асфальта растут,
к заповедной земле, за Синай,
молодые собаки идут

то на Запад, а то – на Восток,
в ерихонские трубы трубя.
Я залаял бы, если бы смог,
да боюсь обнаружить себя.

* * *

Когда мы шли с тобой в Ерушалаим
по переулкам и дворам Москвы,
где нас собаки провожали лаем,
где мы скрывались от людской молвы

в каком-то затрапезном кинозале,
где синий сумрак был неодолим, –
мы прятались, чтоб люди не узнали,
что мы с тобой идем в Ерусалим.

И даже там, на переходе узком,
где таял под ногами снежный наст,
скрывали лица, чтобы не был признан
никто из нас.

Мы крались подмосковными лесами
под небом, перевернутым вверх дном,
уже порой не понимая сами,
куда и идем и для чего идем.

И заблудились. И когда над бездной
явился город, белый, словно снег,
мы поняли, что город был небесным –
не тем, что нам привиделся во сне.

Горел рассвет. Как рог единорога,
белела башня в мареве огней.
И оставалось два шага до Бога.
И стало страшно. Но еще страшней

вернувшись, оказаться в том же зале,
где истины не видно из-за тел.
И стало ясно, что меня узнали.
Не те.
Не так.
И даже не затем.

* * *

Безымянный ваятель камней и гор,
и влюбленных бюстов, замерзших в сквере,
чья любовь прекрасна, как приговор
приговоренному к высшей мере,

если ты – создатель, то кто есмь аз
на земле, где давно уже места мало,
где фонарь, как единственный глаз, погас,
утонув в зеленой воде канала,

где апрельские воды из года в год
пожирают хищно и неустанно
прошлогодний снег, как дворовый кот
пожирает пролитую сметану.

Если ты – создатель, то аз есмь кто?
Словно скрипка, спрятанная в футляре,
я лишь звук, разгуливающий в пальто,
за бесценком купленном на базаре,

где в цене манекены, меха, труха
бытия, я давно осужден условно
как последний рецидивист стиха
и адепт религии православной.

* * *

Это цвет вытесняет цвет,
уменьшая короткий век его.
Это боль сочится, как Новый Завет
просачивался из Ветхого.

И как будто бандитской финкой – в бок –
я нанизан, как туша – на вертел.
Это во мне умирает Бог,
который в меня так верил.

* * *

Что музыка?
Один звучащий воздух,
украденный у ветра и калитки.
Мы тоже кем-то сыграны на скрипке.

И, словно тополиный пух, на воду
садящийся, мы тоже безъязыки,
как первый снег или ребенок в зыбке,
как легкий скрип январского мороза.

Исторгнутые, словно сторяча,
размашистым движеньем скрипача,
ни замысла не зная, ни лица,
обречены до самого конца
искать следы шального виртуоза.

* * *

Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага.
На иконе окна под музыку листопада
догорает тополь,
гаснут Твои стога
потому что – осень.
И мне ничего не надо.

Догорает тополь.
Время медленно движется к октябрю.
И, мгновенные истины у дождя воруя,
нет, не «дай» говорю,
«возьми», – Ему говорю.
Потому что сегодня я дарю.

* * *

Сырое одиночество огней.
Промокший бюст народного артиста.
Летит квадрага клодтовских коней
сквозь мелкий дождь, как колесница Тита,

с Большого – в направлении Кремля
над стройкой, подпираемой кружалом,
над сквером, где трезвонят тополя
набатом перед будущим пожаром.

По улицам горбатым и косым,
неудержимо следуя прогрессу,
летит сквозь дождь Веспасианов сын,
влюбленный в иудейскую принцессу.

Уже давно распяли на заре
юродивого юного раввина.
И напряженно дремлет на золе
сожженная российская равнина.

И с Храма, заслонившего пустырь,
смывает дождь остатки позолоты.
Молчит Христос. Безмолвствует Псалтирь.
Не спят в Кремле кремлевские zeloty.

И поутру, покинув Мавзолей,
всесильный Ирод на всеобщем рынке
недоуменно бродит среди людей
и милостыню просит на Ордынке.

А люди, вырываясь из оков,
копают в рост ненужные окопы.
И, заглушая сорок сороков,
заводит Бах тревожные синкопы.

А дождь идет, холодный, проливной,
глухим напоминанием о Боге.
Я молча дирижирую луной
и больше не мечтаю о свободе.

Покуда мы свободой горим,
горят костры, смещаются границы.
Тоскует Русь.
Изнемогает Рим.
И Ирода украли из гробницы.

* * *

*И взяли его и бросили его в колодец;
колодец же тот был пуст; воды в нем не было.
Бытие; 37-24*

Чужой, как Иосиф, забытый в колодеце Москвы,
в бездонном дворе, где за окнами сушатся маски,
за то, что уже не умею молиться, как вы.
Ноябрь на пороге. Уже ни листвы, ни травы,
ни сна, ни покоя, ни даже купцов Медиамских.

Плывут облака, оставляя на небе следы.
Трясутся под небом горбатых строений верблюды.
И светятся храмы. Но так не хватает воды.
И новые люди опять вырубают сады.
Но я не умею молиться, как новые люди.

Не помню уже, из какой это было главы.
Тускнела над миром луна, как разбитая фара.
За то, что уже не умею молиться, как вы,
меня продавали в страну, где уже ни травы,
ни сна, ни покоя, а только жена Потифара.

И брат сумасшедший, сбежавший с картины Дали,
пасет надо мной на веревке ночную ворону.
Но я уже слышу полет колесницы вдали,
где вновь обретает обличье в кромешной пыли
под звуки Шопена зловещая тень фараона.

* * *

Зима как будто сыграна на лютне
со звонким переливом и тоской.
А за окном давно уже не люди
бредут, как люди, люди по Тверской.

А за окном, давно уже не город,
бурлит, как город, город. И над ним,
пятном пожара, мертвенен и горек,
горит небесный Иерусалим.

И шелестят, как придорожный гравий,
пустые звезды, падая на снег.
Зима. Исчезновение географий.
Кровосмешенье улиц и планет.

И лишь собаки, оставляя метки,
вдруг обнажают логику систем
невиданных доньше геометрий,
неслыханных доньше теорем.

Плывут трамвайных окон кинокадры.
Материки уходят с молотка.
Все спутано. И контурные карты
опять играют нами в дурака.

Витрины подменяют образа.
Создатель спит. Банкуют кукловоды.
Шестерки бьют козырного туза.
И дамы исчезают из колоды.

* * *

Т. Вольтской

Переводчик, толмач, кукловод –
жалкий пленник случайного росчерка.
Сам живу, как чужой перевод
с неопознанного подстрочника.

Непонятною силой ведом,
непонятно куда и откуда
переписан и переведен
в этот мир из подземного гуда,

из болот, из далеких пустынь,
из глубин огнедышащей магмы.
Я – никто, я – ничей, я – не сын.
Я забыл свою бедную маму.

Но прошу, выходя за порог:
если можете, переведите
недопереведенный народ
в недопереведенном Египте,

на Валдае, на Волге, в горах,
запорошенных снежною синью,
чтоб попасть через голод и страх
из пустыни – в другую пустыню.

* * *

На балтийских болотах, где зреет стальная тоска,
над чухонской тайгой, позабывшей дыхание снега,
где желтеет вода, где все больше и больше песка,
бедуинским шатром распласталось осеннее небо.

И ложится на землю верблюжьего цвета листва,
и бездомные осы ломают засохшие стебли,
и чахоточный Чехов, едва подбирая слова,
выдыхает в пространство: «Ich sterbe*... ich sterbe...
ich sterbe...»*

Выхожу на порог, отгоняю бездомных котов.
Догорает закат, и душа еще вроде при теле.
Но тяжелым дождем на уснувшие крыши домов
опускается с неба тягучий песок Иудеи.

За вселенский разгул и за пращуров попранный прах,
за безумные речи, которые нам не простили,
за поверженный Рим, за глухой перезвон тетрадрахм
на российских просторах является призрак пустыни

и кудлатых пророков, покуда лишенных имен,
засывающий клекот из душевной песчаной метели.
И гортанная радость забытых окрестных племен,
отогнавших отары в отныне иные пределы.

Что же делать, мой друг? Да и стоит ли наших забот
в опустевшем пространстве искать золотого кумира?
Если выйдет пустыня – сюда переселится Бог
и сыграет на скрипке свое сотворение мира.

БОЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

(2021 – 2023)

* Ich sterbe – я умираю (нем.)

* * *

Безлюдный храм. Чистилище любви.
Слепое время движется по кругу.
Ни отзвука – кого ни позови.
Одни иконы молятся друг другу.

Бессонница. Распутица. Распад.
Тускнеет солнце, как печатный пряник.
Казалось, кто-то заново распят,
но намертво. И больше не воспрянет.

Казалось, что любовь обречена
или отпета колокольным звоном,
отравлена, с враждой обручена,
тревожная, как в песне Соломона.

Как в песне, где «крепка любовь, как смерть» –
неверная, как царские палаты.
На звонницах в ночи тоскует медь,
как узник в ожидании расплаты.

Бессонница. Гражданская война.
Иконы молят прямо из-под кисти
переписать больные времена
на языки потусторонних истин

и поменять местами берега,
пройдя сквозь боль, врачуемую болью,
сойти с ума, влюбить в себя врага
и не убить.
Или убить любовью.

* * *

В осеннем небе даже птицы спят.
И как во сне крадутся тропы лисьи.
Мир не допет. И сумрачно стоят
кресты деревьев на погосте листьев.

Я сам живу, как недопетый стих.
И ветка, словно кисть иконописца,
рисует лики будущих святых
на облаке.
Но как же сладко спится,

когда нисколько не обременен
ни словом, ни веселием Содома,
под шум дождя, на паузе времен,
иконой на стене ночного дома.

Я эту осень всю перелистал –
свод жития, давно лишенный веры.
Ко мне сегодня ворон прилетал.
Но без олив.
И я захлопнул двери.

* * *

На это лето не хватает строк.
Раскисший, словно яблоко в компоте,
я сам – острог, упрятанный в острог
июльской ночи и бездушной плоти.

На это лето не хватает слов
так, как молитвы не хватает храму.
Все замерло. Лишь тень колоколов
озвучивает эту панораму,

где месяц, словно шелудивый кот,
на черном небосклоне неуместен,
когда идет две тыщи мертвый год.
Или ползет. Или стоит на месте.

Где душный ветер носит по полям,
по улицам, по придорожным ямам
и ненависть с любовью пополам,
и чудеса в угаре полупьяном,

где клочья ночи в воздухе дрожат,
как студень на растрескавшемся блюде,
где все еще свободой дорожат
ночные люди.

Они зовут: огня сюда, огня,
грозя сойтись в нечеловечьей сшибке.
И кажется, что больше нет меня –
я человеком сделан по ошибке.

Они кричат: распни его, распни,
нисколько не заботясь о расплате.
И вечный бой. И вечные огни.
И вечно продолжается Распятье.

* * *

Незаконное время упрямо диктует закон.
 Незаконные птицы, крича, замерзают в полете.
 И сочится из стен диктатура застывших икон.
 Диктатура любви. Диктатура измученной плоти.

Как же слово болит! Будто где-то распяли словарь.
 Будто вдруг оживают давно позабытые даты.
 И с казенных столбов верещит электронная тварь,
 и мигает в ночи – электронных времен соглядатай.

Никуда не уйти. И не скрыться под маской ночей,
 где, сменив оперенье, летят молчаливые дрофы.
 Выхожу на парад. Впереди семенит казначей,
 как воскресший гонец из зарытой в песках
 Кериофы.

Проступают иконы из жизни и веры иной.
 Расступается море. И мы с тобой лишь опечатки
 в этой книге времен.
 Набегает волна за волной,
 поглощая песок.
 И кричат незаконные чайки.

* * *

Передавлен, растоптан, оставлен
 этот день, этот год, этот век.
 Как младенческий свет из-за ставен,
 выплывает неведомый свет.

Выплывает из звука, из гуда,
 как из тьмы выплывает река
 или облако – из ниоткуда,
 неопознанное покуда
 и не названное пока.

Зарождается где-то звезда
 при морозной январской погоде.
 Мы, наверно, еще в переходе,
 но не знаем, зачем и куда.

Хорошо бы собаку иметь.
 Топать с ней по подтаявшей жиже,
 отличая по запаху смерть
 от еще не родившейся жизни.

Или просто по лужам брести,
 отражающим звонкое тело.
 Только зеркало вдруг постарело.
 Надо б новое приобрести.

* * *

Что если Он хотя б на миг,
со стоном усомнился в Сущем, –
увидев только этот мир
в его обличье сучьем,

и в том, что путь меж двух миров
нет, не триумфом, не парадом
лежит, а между двух воров,
висящих рядом.

Но эта боль, и этот стон,
и ужас – ничего не значат.
И будет так, как хочет Он,
а не иначе.

И медленно проступит свет
сквозь ливень и порывы ветра
из мира, где и мира нет,
где Бога нет и смерти нет,
но есть любовь и вера.

* * *

Спохватились, побежали, было поздно.
Было постно на душе. Было пусто.
На заплеванном перроне сели в поезд
опоздавший, неуютный, не попутный.

Этот поезд спотыкался на стыках,
отдавался в лесах гулким эхом.
Этот поезд был вчерашним. Было стыдно
на вчерашнем поезде ехать.

И швыряет нас от стенки – до стенки.
Что ж, бывает. Да и выпить не вредно.
Вот и стрелочница. Двигает стрелки,
не заметив, что закончилось время.

* * *

*«Пой, балалайка, плакать нельзя»
Семен Липкин*

Ропот вороний да шелест больниц.
Пахнет лекарствами и византийством.
Цивилизация самоубийц
цивилизуется самоубийством.

Соединившись с огнем и золой,
как василевс, проваливший экзамен,
царственный Ангел* парит над землей,
царственный Ангел.

А на Москве, исторический прах
с ног отряхнув, как забытую пьесу,
милые роботы на фонарях
под балалайку дают «Марсельезу».

Будто иного уже не дано.
Будто совсем не бывает иного.
Царственный Ангел снимает кино.
Царственный Ангел рождается снова.

Вымокший август с растерянных лиц
шумно смывает остатки заветов.
Цивилизация самоубийц
цивилизует своих человекoв.

Пой, балалайка! Иначе – никак.
Только сума да тюремная пайка.
Не пропадать же за гнутый пятак.
Пой, балалайка.

* Ангел – представитель византийской династии Ангелов, при правлении которых началось угасание империи.

* * *

Разговоры, сплетни, пересуды.
Начинаем с чистого листа.
Все готово для битья посуды:
вот – подразделения Иуды,
вот – подразделения Христа.

Как они похожи! К масти – масть.
Словно чемоданы на платформе,
как романс на старом патефоне,
где ни слов, ни музыки понять
не дано. И поздно понимать.

Черный ангел над землей гостит.
Бедный Иов, жалобы податель,
видно отвернулся твой Создатель
навсегда. И больше не простит.

Ведь дожди не ведают стыда
в пору зарождения разливов.
Где твои бескрайние стада,
бедный Иов?

Вот и ливень.
Полыхает сад
так же, как и много лет назад
накануне казни и спасенья.
Только б научиться воскресать
в понедельник после Воскресенья.

* * *

Мертвые ветра не имеют сраму.
Ни окна, ни рам на пепелище.
Мама, научи меня мыть раму,
чтобы стало чище.

И пойдем на улицу гулять.
Пусть ветра пронзают до озноба.
Папа, научи меня стрелять,
чтобы...

* * *

Когда зарастет погребальный овраг
и мертвый сомкнется строй,
каждый второй будет первый враг,
а каждый первый – второй.

Но те, кто еще не успел, не сгнил,
лея благую весть,
шатаясь от счастья, шагнут из могил
с крестами наперевес.

И каждый первый пойдет на парад,
и второй пойдет на парад.
И будет первый параду рад,
и последний параду рад.

И этих торжественно наградят,
и тех – слегка опосля.
И, наконец-то, все победят.
И всех победит земля.

* * *

Говоришь, пора выходить? Ну давай, выйдем.
Говоришь, пора? Это стало теперь модой?
Но куда выходить, если выход почти не виден?
И земля не течет, как тогда, молоком и медом.

И куда выходить, если сам воздух –
как сырая подушка с истлевшей ватой.
Все остыло. И незачем дуть на воду,
если взорвано даже ущелье Иосафата.

Говоришь, пора? Но тебя уже нет в списке.
Только ветер и снег на улицах полусонных.
И какой там Суд, если Бог отказал в иске
и утеряна древняя книга имен спасенных?

И какой там Суд, если вместо людей тени,
изгибаясь, прикидываясь травой,
прорастают призраками сквозь стены
обветшалых домов, висящих над головою.

Только призраки за окном растекаются, гнутся,
распадаясь и вновь собираясь в стадо.
То ли просто шуршат, то ли хотят вернуться.
Бога ради, не возвращайтесь, не надо.

СТАНСЫ

(2020)

1.

Бог живет на краю Иудейской пустыни у самых ног
молодой верблюжихи.
И ее золотое тело,
как закатное солнце, на теплые камни село,
освещая дорогу идущему.
Здравствуй, Бог.
Хорошо ли жить, отойдя от дела?

2.

Сотворив из диких камней детей Аврааму,
или этот пруд за поселком, заросший тиной,
этот лес, этот мир, и так завершив программу,
как влюбленный художник, оформив картину в раму,
отошел от дел, наслаждаясь своей картиной.

3.

Или этот мир достиг своего предела,
как багровое солнце, свалившееся за отрог?
Посмотри, как роща осенняя поредела,
как тоскуют поля, как почти что уже без тела
сквозняком вползаю на твой порог.

4.

Желтый лист на плечо садится, как эполета
и стекает к ногам, как скупая слеза – со щек.
Здравствуй, Бог. Перепутаны все приметы.
Понимаешь, нынче в России украли лето.
Да и зиму украли. И много чего еще.

5.

Говорят, на Руси по-прежнему правит царь.
Потому и солнце стынет каменной киноварью,
зеленеет вода, и, вдыхая лесную гарь,
маршируют пииты, рифмуя земную «тварь»
с человеком и всякою прочей тварью.

6.

Расползаются льдины. Клокочет рекой весна.
Но травой, что является из прошлогодней гнили,
из минувшей войны прорастает опять война,
и Твоя победа уже хорошо видна
из оттаявшей на ветру могилы.

7.

Вдохновенно рифмуя любовь и кровь,
запевают солдаты, легко повинувшись жесту
командира смерти, живущего средь гробов,
и в прицел автомата, как меж двух верблюжьих
горбов,
осторожно выцеливают новую жертву.

8.

Это люди твои. Человеки. Земная пыль.
Беспокойные и разумные до блевоты.
Завывает дол,
и поет на ветру ковыль,
отпевая леса, отпевая поля и воды.

9.

Я живу наугад, обожженный мятежным веком,
подавившись печатным словом, как коркой хлеба.
Хорошо, что не сделал птицей, а сделал ветром,
не частицей праха,
а частью пустого неба.

10.

Неподвластный лжецу, продавцу, свинцу,
я крадусь по камням необъятной Твоей пустыни,
где еще не забыта земная тоска по Отцу,
но уже проснулась земная тоска о Сыне.

11.

Здравствуй Бог.
Твой закат, словно огненный глаз, горит.
И среди воспаленной тщеты и цепного страха
я уже устал за тебя творить,
параллельный мир из земного праха.

12.

Потому что из этого мира уходит ритм.
 И огромный мой город – памятник лютой страсти,
 беззащитен и гол, как стихи без рифм.
 Я стою посреди земли, как последний Рим,
 в непонятном своем, бескрайнем своем
 пространстве.

13.

Аритмия. Январский зной. Августовский снег.
 Спотыкается сердце, как азбука Морзе.
 И спасительный взрыв зашифрован, как в Первом
 дне.
 И о чем-то своем обреченно бормочет во сне
 под брусчаткой Москвы бесконечное мертвое море.

СОДЕРЖАНИЕ

 РОЖДЕНИЕ
 (1985 – 1990)

И дико во тьме завывая...	7
Незаконнорожденный сын виноградной лозы и мула...	9
Осень. Нетопленный лес...	11
Ворвавшись в заспанный январь...	12
МОНОЛОГ	14
Напророчила снег одинокая туча-пророчица...	16
Виолончель, читающая книгу...	18
Эти летние дожди...	19
Облако, изъеденное молью...	20
Я знал, что будут ночи гулками...	21
Явилась осень. С вымокших осин...	22
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ	23
ПЕЙЗАЖ НА ФОНЕ ПОРТРЕТА	25
НАТЮРМОРТ	26
АВТОПОРТРЕТ В САДУ	27
Как глухо. Как метет пурга...	28
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ	29
РОЖДЕНИЕ	32

 ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ
 (1991 – 2001)

Мир уже не рифмуется. Бог...	37
Мы вышли за пределы языка...	38
Внезапно разрывая тьму...	39
Это яблоко. Яблокопад...	41

Мне холодно в этом вертепе... ..	43
Россия. Дождь. Начало октября... ..	44
Собака лает. Ветер носит... ..	47
Песком пустыни давится хамсин... ..	49
Сомкнулась горловина века... ..	50
ЧУЖИЕ НЕБЕСА	51
Опять горнист исход трубит... ..	53
Затхлый запах бездонности... ..	54
Пока по эту сторону земли... ..	55
С похожею на небо обликом... ..	56
Луну зарезали под утро... ..	57
Снег идет неслышно, по-кошачьи... ..	58
ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ	60
Бездомный, словно уличный фонарь... ..	62
Когда вечер опустится вещей... ..	63
Уже ни строчки, ни судьбы... ..	64

МОНОЛОГ ОСКОЛКА
(1995)

На земле меняется индекс цен... ..	67
Отделенный от пустого тела... ..	68
Мы жили там, где счастья мрачный поиск... ..	69
Утром с куста опадает вода... ..	69
И было: свалившееся за клеть... ..	70
Я встал меж ними, где дышали... ..	71
Победа – это первый теплый снег... ..	72
О, Господи, они Тебе нужны... ..	72
Разрывы. Перья. Облака... ..	73
Уже однажды пересечена... ..	73
Начинается снег, будто заново жизнь начинается... ..	74
Паденье – тоже форма бытия... ..	75
Расщеплен, как Адамова плоть... ..	76

ГРАНЕННЫЙ ВОЗДУХ
(1991 – 2001)

Кровит закат, пируют волки... ..	81
Что-то крылья летают отдельно от птиц... ..	82
РЕКВИЕМ (Памяти Евгения Блажеевского)	83
Скупая геометрия зимы... ..	88
Все сбылось, наконец. Короли оказались голы... ..	89
КРЕЩЕНИЕ	90
Пока во мгле, подобно чуду... ..	92
Почудится рывок весны... ..	93
И баба на метле... И ангел на осяти... ..	95
ДИПТИХ	97
Бьет по осени, как по лицу или в пах... ..	99
Осколки неба со стекла... ..	101
Выныривая из чужих ворот... ..	102
И черным клювом дирижера... ..	104
Пафос. Враки. Слов немерено... ..	105
Цепь революций и соблазнов... ..	106
Только ночь, аптека да канава... ..	107

ПОВОДЫРЬ ДОЖДЯ
(2001 – 2011)

В дождевике, изношенном до дыр... ..	111
Пространственная форма пустоты... ..	112
Осколки быта, словно бисер... ..	115
Еще темно. И замысел не явлен... ..	117
Стальные тучи нянчили стерню... ..	118
Крик – от улицы. Плач – от младенца... ..	119
Городской сумасшедший в потертом пальто... ..	120
Загадка снега – теорема духа... ..	121
На меня из тучи бородатой... ..	122

Хочу к Иисусу Христу... ..	123
Беспокойный выблядок пустынь... ..	124
Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю... ..	125
Ночь глуха. Ни ангела, ни вора... ..	126
Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага... ..	127
Мелькали забытые лица... ..	128
Я охранял пространство и окно... ..	129
Что музыка? Один звучащий воздух... ..	130
Юродивый, дурак, потомок пилигрима... ..	131
ОСЕННИЕ ЯМБЫ	133
Умоляли пригорки, озера и лес... ..	136
На рассвете последнего дня... ..	137

МЕТАФОРА НЕБЫТИЯ

(2001 – 2011)

Господи, вспомни, ведь это же я... ..	141
ТРИПТИХ	142
Этот город – как кладбище детства... ..	144
Красные рыбы в зеленом пруду... ..	145
Покуда снег белил ворону... ..	147
На соседней террасе играли на скрипке... ..	148
Ты сидишь, как икона в углу... ..	150
Перересую пейзаж за случайным окном... ..	151
Распахни свое зеркало настезь... ..	152
Я уже, наверно, тебе – никто... ..	153
Беспокойная сладость уйти и пропасть... ..	154
Пространство между Тверией и Тверью... ..	155
Переход из осени в снегопад... ..	156
Осенний обморок. Лысеющий ноябрь... ..	157
Запятые птицами упорхнут... ..	158
АРМЕНИЯ (2005)	159

В ОСТЫВАЮЩЕМ НЕБЕ

(2011 – 2021)

Я вырос на руинах той войны... ..	167
И когда это было – мне вспомнить уже не дано... ..	169
ОТЕЦ	171
ПОПЫТКА БАЛЛАДЫ... ..	173
Его хотели расстрелять одни... ..	175
Я воровал березовые чурки... ..	177
Скульптура дерева. Иллюзия огня... ..	178
В осеннем парке, где тоскует бюст... ..	180
Осенний парк. Рябина-недотрога... ..	181
Чертыхаясь, иду по рыхлому снегу... ..	182
Мы обойдемся без вина... ..	183
Бог в России живет не в хоробах... ..	184
Беспокойное небо. Живу, как на дне... ..	185
Эта осень расставила все по местам... ..	186
И когда, скользнув по камням покатым... ..	187
Кругом песок. И лица – как из гипса... ..	188
Когда закончится гражданская война... ..	189
И скрежет дальних поездов... ..	191
Сереет небо из пластмассы... ..	193
Сжимается пространство языка... ..	194
Да что страна, ее леса и недра... ..	195
МИЛЛЕНИУМ (Поэма распада) (2009)	199

МЕРТВОЕ МОРЕ

(2011 – 2021)

Море – форточка неба, которую выбил Бог... ..	209
Меня прислали сказать вам, что он не придет... ..	210
Вороватое небо крадется в закрытую дверь... ..	211
Ни земли, ни плодов. Разбрелись шерстяные отары... ..	213

Не трожьте лебедя и ворона не ешьте... ..	214
Средиземное море теряет ритм... ..	216
И снова я к тебе не успеваю... ..	217
Дальний пригород. Ночь холодна... ..	219
Когда мы шли с тобой в Ерушалаим... ..	220
Безымянный ваятель камней и гор... ..	222
Это цвет вытесняет цвет... ..	223
Что музыка? Один звучащий воздух... ..	224
Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага... ..	225
Сырое одиночество огней... ..	226
Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы... ..	228
Зима как будто сыграна на лютне... ..	229
Переводчик, толмач, кукловод... ..	230
На балтийских болотах, где зреет стальная тоска... ..	231

БОЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА (2021 –2023)

Безлюдный храм. Чистилище любви... ..	235
В осеннем небе даже птицы спят... ..	237
На это лето не хватает строк... ..	238
Незаконное время упрямо диктует закон... ..	240
Передавлен, растоптан, отставлен... ..	241
Что если Он хотя б на миг... ..	242
Спохватились, побежали, было поздно... ..	243
Ропот вороний да шелест больниц... ..	244
Разговоры, сплетни, пересуды... ..	246
Мертвые ветра не имут сраму... ..	247
Когда зарастет погребальный овраг... ..	248
Говоришь, пора выходить? Ну давай, выйдем... ..	249
СТАНСЫ (2020)	253

Серия:
#ПоэтыПЕНА

Редакторы серии:
Владимир Семенов
(главный редактор)
Сергей Добролюбов
Олег Ефимов
Владимир Коптев-Дворников
Андрей Новиков-Ланской
Александр Себелев

Ефим Львович
БЕРШИН

ЧЕЛОВЕК
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ
Избранные стихи

ISBN 978-5-87531-192-5

Оформление и дизайн: Ольга Козлова
Ответственный за выпуск: Андрей Симонов
Редактор: Александр Себелев
Технический редактор: Ирина Себелева
Компьютерная верстка: Любовь Евсюткина

Издатель: МОО «Общественная палата деятелей культуры и искусства»
Сдано в набор – 2.03.24. Подписано в печать – 28.03.24. Тираж – 1000 экз.
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Печ.л. 16,5. Заказ №
Отпечатано в ООО «Фотоэксперт»
108316, г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, к. 5.